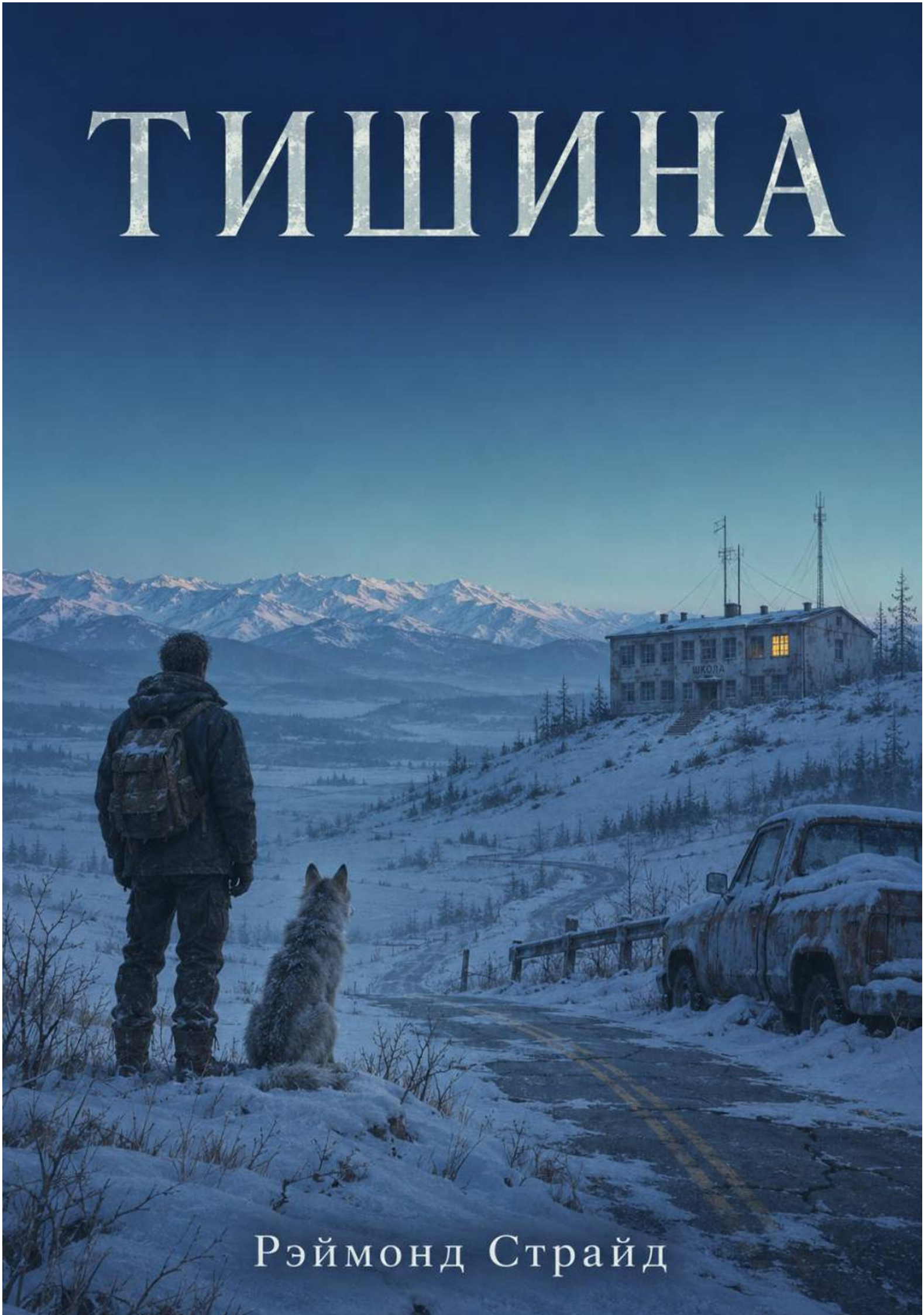
ТИШИНА



Рэймонд Страйд

Рэймонд Страйд

Тишина

«Автор»
2026

Страйд Р.

Тишина / Р. Страйд — «Автор», 2026

Дэн Мэйсон вернулся из восьмидневного похода и обнаружил, что мир закончился без него. Небо пусто, дороги стоят. В эфире не осталось ни одного голоса. Всё, что у него есть, это старый пикап, бывшая школа в горах, радиостанция и привычка вести журнал: точно, без жалости к себе, каждый день.Он учится жить, когда никто не придёт на помощь. Он ходит на склады за мешками муки, спорит с медведем у распахнутой двери, вскрывает зоопарк и находит там единственное, что можно спасти: волчонка. Рядом с ним Дэн снова начинает разговаривать вслух. Ему приходится выходить на охоту, считать патроны и фильтры и каждый вечер включать приёмник в то же время, на той же частоте.Зимой в эфире появляется сигнал. Он короткий и непонятный, но Дэн уверен, что человек его не придумал. Теперь нужно решить: ждать, искать или поехать.«Тишина» — медленный, плотный роман о выживании, дисциплине и том, как долго человек способен держаться за надежду, которую никто не подтверждает.

© Страйд Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая 5
Глава вторая 11
Глава третья 18
Глава четвёртая 24
Глава пятая 30
Глава шестая 36
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Тишина

Глава первая

ДЫМ

На рассвете восьмого дня иней схватил даже внутреннюю стенку палатки. Дэн лежал в спальнике и слушал горелку: ровное шипение, чуть хрипловатое на морозе. Вода в котелке ещё не грелась, а он уже знал весь день наперечёт — свернуть лагерь, спуститься по осыпи к верховьям Медвежьего ручья, к вечеру выйти на гряду, а завтра к полудню добраться до лесной стоянки, где под тентом дожидался его «форд». Старый пикап семьдесят девятого года он перебрал собственными руками, до последнего болта, и доверял ему больше, чем любому живому существу: канистры полные, лебёдка исправна, под сиденьем — карта лесных дорог, расчерченная его почерком.

Дэн выбрался наружу, и холод тут же забрался за шиворот. Хребет стоял в прозрачном синем воздухе, осенний, сухой, без единого облачка. Хороший день для перехода. Дэн разобрал палатку, уложил рюкзак по отработанной схеме — тяжёлое к спине, котелок сверху, коврик под клапан — и проверил нагрудный карман. На месте: сканер, рация, запасные батареи. И фотография, задвинутая в пластиковый кармашек бумажника: отделение, девять человек, Фаллуджа, ноябрь ноль четвёртого. Все по колено в песке, все смеются. Он не разглядывал её в горах. Он вообще старался её не разглядывать, но в поход брал всегда.

Телефон он включил один раз за неделю, в первый вечер, сверить время. Сети здесь не ловило, и это входило в план. В горах у него затихала голова — впервые за год, каждый год. Психотерапевт из ветеранского департамента величал это «избеганием»; Дэн величал это отпуском и на приём больше не ходил. Одному ему не было скучно никогда. Скука, по его давнему убеждению, претензия к собственной бедности, а бедным он себя не считал.

К гряде поднялся в пятом часу. Ноги знали эту тропу до последнего камня: девятый сентябрьский поход подряд, тот же маршрут, та же золотая стена осин справа, то же озеро внизу, чёрное от глубины. Дэн вышел на седловину, и первое, что он увидел, был дым.

Дым стоял над равниной там, где полагалось стоять Денверу.

Масштаб доходил не сразу. С высоты город читался весь, до самого горизонта: сетка пригородов, лента реки, а над деловым центром — стеклянные иглы небоскрёбов. Дым поднимался не из одной точки. Столбы тянулись по всему городу, десятками, и наверху ветер сносил их в общую стену, серо-жёлтую, рваную. Две башни горели сами по себе — пламя вылизывало этажи, и стекло в них оседало тяжёлыми чёрными каплями.

Дэн стащил рюкзак, достал бинокль. Руки действовали сами, а сознание отказывалось собрать картинку целиком. В окулярах город оставался тем же и не был тем же: кварталы, улицы, эстакады — и ни одного движения. Автострада, которая в этот час всегда стояла в пробке на выезде, лежала пустая, как взлётная полоса закрытого аэродрома. У больничного комплекса на дальнем краю, белого, с посадочной площадкой на крыше, площадка пустовала

— а санитарные вертолёты в Денвере садились по нескольку раз на дню, он видел это всякий раз, когда бывал внизу.

И небо. Уловил он это не сразу, а когда уловил — вдоль позвоночника прошло холодное: небо над равниной было начисто пустым. Денверский аэропорт, один из самых загруженных в стране, гнал над хребтом борта каждые три минуты; весь сентябрь он засекал их по белым следам. Сейчас отсюда и до границы Канзаса не тянулось ни одной инверсионной нити. Ни одной.

Телефон он включил. Сеть мигнула одной палочкой и умерла. Входящих не было. Номер окружного шерифа дал сперва длинные гудки, потом короткие. Девять-один-один ответил механический голос: «все операторы заняты», — а через минуту не стало и голоса. Дэн стоял на ветру и поймал себя на том, что перебирает в уме, кому бы позвонить. Перебирать было нечего. Мать умерла шесть лет назад. Разведён дважды, детей нет. Из отделения не осталось никого — он знал это точно, у него были годы, чтобы выяснить. Список существ, которые заметили бы его отсутствие, оканчивался на почтовом ящике, который раз в неделю проверял сосед за три мили.

Спускаться вечером не имело смысла: до стоянки четыре часа ходу, половина впотьмах. Палатку он поставил за гребнем, в пяти минутах от седловины, достал сканер и до темноты ходил на гряду. Дым к ночи поредел, зато осталось зарево — рыжая полоса над городом, неровная, дышащая. Больше на равнине не горело ничего.

Денвер он знал ночным. Знал, как издалека читается уличная сетка — мили фонарей до горизонта, как светится подсветка на мачтах стадиона, как перемигиваются красные огни на башнях, предупреждая борта. Теперь не светилось ничего. Темнота лежала сплошная, и только зарево колыхалось над ней, и от этого колыхания темнота делалась ещё плотнее.

Сканер он включил, когда стемнело окончательно. Прошёлся по забитым в память каналам: полиция, пожарные, скорая, шериф, Нацгвардия. Почти всюду стояло голое шипение. На пожарной частоте жил один голос, и Дэн слушал его двадцать минут, не шевелясь. Голос принадлежал диспетчеру, мужчине лет пятидесяти на слух, и тот передавал в пустоту, как человек по привычке приходит на службу в сгоревшее здание:

— Девятая бригада, вызов на Колфакс, горит жилое… Девятая бригада, приём. Двенадцатая бригада… — пауза, шорох, кашель в микрофон, сухой, рвущий. — Любая бригада. Приём. У меня тридцать один невыданный вызов, ребята. Тридцать один. Кто-нибудь. Приём.

Под конец диспетчер произнёс что-то себе под нос, уже не для эфира, и канал угас. Дэн сидел в темноте, сжимая сканер, и впервые за эти дни спросил себя не «что случилось», а «сколько их там осталось». Ответ ему не понравился.

В палатке он не спал. Перебирал объяснения, и каждое рассыпалось. Лесной пожар не объяснял пустого неба. Диверсия оставляет после себя сирены, вертолёты, вспышки на горизонте, а над равниной висела тишина без единой трещины. За восемь дней в горах он не слышал ни одного самолёта — и тогда это было просто хорошей приметой тихой осени.

А потом он вспомнил. Перед самым уходом, в пятницу, он заезжал в город за пропаном, и приёмник в пикапе болтал о странной лихорадке где-то на восточном побережье

— «вспышка», «наблюдение», «причин для беспокойства нет». Дикторы пересмеивались. У заправки девушка-кассир кашляла в кулак и извинялась. Отметил он это краем сознания, как отмечают тучу над соседним округом: не ко мне, не сейчас. Теперь он лежал в темноте и складывал заново: восемь дней назад. Пятница. Кассир с кашлем. Восточное побережье. Западное — вот оно, под горой, догорает.

Под утро он принял решение: спускаюсь к стоянке. «Форд» там, канистры там, и ответ тоже там — по ту сторону поворота шоссе.

Лагерь он свернул быстрее обычного, спрятал под камнями котелок и спальник — взял еды на день, бинокль, сканер, рацию, нож. Сорок пятый калибр остался на бедре, где ему и полагалось. Рюкзак облегчил, и от этой лёгкости стало не по себе: по его собственным правилам, выложенным когда-то на форуме выживальщиков, вниз к дорогам без спальника не ходят. Он сам те правила писал. Впервые он пошёл против них.

Тропа к стоянке тянулась через редкий сосняк, потом вниз вдоль ручья. До асфальта оставалось полмили, когда он уловил не звук — отсутствие звука: там, где за поворотом круглые сутки гудела четырёхполосная лента, стояла тишина. Дэн слился с сосной на склоне над дорогой и поднял бинокль.

Шоссе было забито машинами. В обе стороны, как пришлось: седаны на обочине и поперёк полос, два трейлера, рейсовый автобус с распахнутой дверью. Дальше, за поворотом, просматривался блокпост Нацгвардии: бронированный «хамви» поперёк дороги, мешки с песком, палатка медпункта с красным крестом. Фигуры у мешков лежали, а не сидели, — он долго водил окулярами, надеясь на ошибку, но ошибки не было: двое в форме у колеса, водитель над рулём, у палатки ещё трое, на носилках и прямо на асфальте. Ветер донёс сладковатый больничный дух, и Дэн опустил бинокль. Ветер шёл от дороги; он отобрал сосну повыше, на чистой стороне склона, и пересел к ней.

Час он просидел за сосной. За этот час по шоссе не проехала ни одна машина, ни одна фигура не поднялась с земли, не прозвучало ни единого окрика. Ворона опустилась на зеркало автобуса, посидела, улетела. Один раз ему почудилось движение в палатке медпункта — он ловил его окулярами до рези в глазах, пока не разглядел: ветер трогает полог. Он уже разлепил губы, чтобы крикнуть — старая солдатская глупость, зов в пустоту, — и вовремя прикусил язык. Голос разносится далеко, а откликаться на него здесь было некому.

«Форд» стоял на стоянке в двухстах ярдах ниже, нетронутый, под тентом, и рядом с ним валялся чужой пикап с открытыми дверцами и раскиданным по гравию багажом. Дэн подошёл к своему неслышно, со стороны ручья, обошёл, проверил колёса, замки, капот — всё как он оставил. Ключ лежал под передним крылом, в магнитной коробочке, где лежал всегда. Мотор завёлся с полпинка, вежливо загудел на холостых. Дэн дал ему минуту, слушая, и в этой минуте взвесил всё: бензина — полный бак и двадцать галлонов в канистрах, дорога вверх по лесному кварталу знакома до последней колдобины, в кузове — тент, топор, цепи. Выехал он со стоянки медленно, без фар, и повёл машину в гору — не к дому, дом лежал внизу, в стороне дыма, а наверх, к гряде, насколько хватит колёс.

Там, где лесная дорога обрывалась промоиной, он поставил пикап под елями, закинул маскировочной сеткой, сгрузил канистры и остаток пути поднялся пешком, с топором за спи-

ной и пустым рюкзаком, который к вечеру наполнился из тайника под камнями у гряды — спальником, котелком и всем, что он прятал там утром.

Счёт дням он вёл зарубками на рукояти топорика — старая привычка. Первая зарубка — утро после спуска. Вторая. Третья. Он не кашлял. Горло не першило, виски не ломило, и он поймал себя на том, что прислушивается к собственному дыханию, как к работе чужого мотора: не застучит ли.

Еды хватало на пять дней, если не жировать: сублиматы, консервы, рис. Воду из озера и ручья он кипятил — чистую тоже, по привычке, вбитой когда-то по ту сторону океана: в чужой стране сырого не пьют. Теперь чужой страной было всё. Форель в озере имелась — он видел у берега радужную, ленивую в холодной воде. Хребет он знал: за седловиной, в получасе ходу, притаилась старая сторожка лесников, брошенная лет двадцать назад, но крепкая, с железной печкой. В сторожке можно было перезимовать — если до зимы доживёт вопрос, который уже нельзя было не задать.

Вопрос звучал просто: что случилось. И ответить на него мог только эфир.

В сторожку он перебрался в тот же день, растопил печь, перекинул антенну через сук у окна и сел слушать — методично, как когда-то учили: блокнот раскрыт, карандаш заточен. В журнале появились первые строки: частота, время, кто говорит, жив ли.

Полицейская сеть угасала на глазах. Первые двое суток диспетчеры ещё вели смены: «Седьмой участок не выходит», «На Мэдисон перестрелка, все посты свободны», «У меня патрульный не отвечает с шести утра». К вечеру вторых суток остался единственный дежурный канал, и женский голос на нём говорил уже не кодами, а простыми словами, срываясь: «Любой наряд. Скажите, что вы меня слышите». Ей не ответили. Утром третьих суток канал молчал.

Между полицейскими частотами и госпитальными маячила сеть скорой помощи, и там Дэн задерживался дольше всего: там ещё звучали живые разговоры — усталые, будничные, страшные именно этой будничностью. Фельдшер докладывал диспетчеру, что кислород на исходе, а смены нет, потому что вся смена лежит. Диспетчер спрашивал адрес, фельдшер называл, и оба замолкали: к этому адресу уже никто не поедет. Однажды кто-то забыл отпустить тангенту в машине, и канал два часа передавал кашель — сперва частый, потом редкий, потом никакой. Дэн дослушал до конца. Решил он, что будет дослушивать всё до конца: это было единственное, чем он мог почтить людей, которых не знал.

Госпитальная сеть держалась дольше прочих. Там говорили ровно и коротко, как говорят люди, привыкшие к дурным известиям, — и от этой ровности делалось хуже всего. Дэн записывал, стараясь не проронить цифры: инкубация до шести суток; кашель утром — к ночи человека нет; геморрагическая сыпь; передаётся воздушно. Одну фразу, произнесённую врачом с надломом, он переписал дважды и подчеркнул: «Носители — все. Симптомы не у всех, но заражён всякий, кто был в городе. Прекратите эвакуацию, вы разносите её. Прекратите эвакуацию».

Нацгвардейская частота ожила на четвёртую ночь, ненадолго. Позывные, доклад по уставу — и устав этот рассыпался прямо в эфире: «…штаб не отвечает восемь часов, треть личного состава в лазарете, объявляю отход на объект «Гранит», повторяю, отход на…» В

канал влез чужой голос, молодой, истеричный: «Ребята, там никого, мы оттуда, там все…» Оба тона слились в помехах и пропали. Больше военных не было.

В конце концов осталась одна петля. Аварийная система вещания, запись, женский голос, вышколенный и ровный: «Говорит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Оставайтесь в жилищах. Не допускайте контакта с лицами, имеющими признаки заболевания. Службы работают. Помощь в пути». Пауза — и снова с начала. Дэн слушал запись до последнего слова и всякий раз ждал, что в конце что-нибудь переменится — назовут сроки, адреса, что угодно живое. Запись не менялась. На пятые сутки вместо голоса в петле осталась музыка — старая пластинка, вальс, — и вальс этот кружил всю ночь, а к утру сменился шипением.

Короткие волны он берёг на ночь, когда ионосфера поднимает сигнал. Там ещё жили любители. Радиолюбитель из Монтаны хрипло перечислял, кто из знакомых перестал выходить на связь, — по именам, по позывным; список был длинный, и читал он его медленно, как читают поминальный список. Женщина из Орегона вышла в эфир один-единственный раз: «Есть кто-нибудь здоровый? У меня кашель с утра. Если есть здоровый — не приезжайте. Слышите? Не приезжайте». Кто-то в Техасе читал Писание, спотыкаясь на словах. За стеной помех мелькало зарубежное: служба новостей, которую он когда-то ставил фоном в гараже, успела проговорить про закрытые порты и распавшиеся правительства, про то, что ни одна страна не сумела перекрыть границы вовремя, — и оборвалась посреди фразы, и не вернулась. Морские частоты молчали: он проверил аварийный морской канал, тот самый, где по закону всегда кто-то дежурит, и впервые в жизни услышал там одну атмосферику.

На шестые сутки он провёл ручкой настройки по всем диапазонам, снизу доверху и обратно, и не нашёл ни одного человеческого голоса. Только три несущие, мёртвое посвистывание автоматики где-то далеко, да сухой треск атмосферных разрядов. Приёмник он держал на коленях и слушал этот треск, и ему пришло в голову, что техника ещё жива: где-то крутятся генераторы, которым нечего питать, вещают станции, которым некого будить. Железо умрёт позже.

Выключил он приёмник и написал в журнале: «19 сентября. Эфир пуст. Если везде то же — я один».

Потом долго смотрел на строчку. В слове «один» он чуть было не вывел вторую «о» — перечеркнул, написал аккуратно, и от этого автоматического исправления стало так тошно, что он отложил карандаш. Кому аккуратно. Кто прочитает.

Вот тут его и накрыло — не страх и не горе, а то, что он до сих пор не решался развернуть. Оплакивать было некого. Весь мир умер, а у него внутри шевельнулось что-то вроде отчётливой ледяной пустоты, и он сидел с этой пустотой на бревне и честно её разглядывал. Мать умерла раньше. Жёны давно стали чужими. Отделение — он перепробовал всё: звонил, ездил, стоял у могил; восемь из восьми. Однажды он уже был последним из отделения, и тогда ему сказали: выжил — стало быть, живи за всех. За всех он прожил двадцать лет, и выходило это плохо. Теперь он оказался последним из вида, а за всех не прожить — не хватит жизни.

Он не плакал. Он сидел, пока не стемнело, потом лёг в спальник не раздеваясь и впервые за эти дни уснул — без снов, провально, как гаснет перегруженная машина.

Утром седьмых суток — седьмая зарубка, кашля нет, — Дэн вытащил из рюкзака рацию, вставил полный комплект батарей и долго смотрел на неё. Наконец он включил её, выставил аварийную любительскую частоту, известную всякому, кто хоть раз держал в руках ключ, нажал тангенту и произнёс:

— Эфир, приём. Здесь «Виски-ноль-дельта-чарли-новембер». Я здоров. Колорадо, Фронт-Рэндж, сторожка над озером. Если кто-то меня слышит — ответьте. Кто угодно.

Тишина была ровной и полной. Выждал, отсчитал тридцать секунд, повторил. Ещё раз, медленно, по буквам, как говорят с теми, кто плохо слышит: «Виски-ноль-дельта-чарли-новембер». Отпустил тангенту. В наушнике шипела атмосферика, и больше ничего.

Он не разочаровался — разочаровываются те, кто ждал иного. Записал он в журнал время выхода, аккуратно, и пометил: повторять ежедневно, восемнадцать ноль-ноль. Затем развернул карту, обвёл карандашом квадрат вокруг сторожки и принялся прикидывать зиму. Дрова — мёртвая сосна по северному склону, её хватит до марта, если пилить по воскресеньям. Рыба — озеро не промерзает до дна, он это знал. Оленьи тропы по южному склону, солонец у излучины, снег в ноябре по колено, к декабрю по пояс. Пикап под елями — резерв на тот случай, если придётся уходить далеко и быстро. Батарей хватит до весны, если слушать дважды в день и не гнать настройку зря. Писал он столбиком, и рука не дрожала, и это его самого удивило: план успокаивал лучше любых слов. У него не было никого, и задача осталась одна — он вписал и её, в конец страницы, крупно: ВЫЖИТЬ. Не за кого-то. Просто выжить, потому что других задач не осталось.

На восьмые сутки он поймал себя на том, что разговаривает вслух. Он говорил печке: «Ну-ка, давай». Говорил дровам: «Пошли». Поймал — и не стал прекращать, потому что тишина, в которой нет собственного голоса, делается другой: она начинает слушать.

Тем вечером он дописал в журнале:

«Если кто-то жив и умеет слушать эфир — я на Фронт-Рэндже, в старой сторожке лесников над озером. Костёр каждый вечер. Слушаю каждый день в восемнадцать ноль-ноль, все диапазоны. Я здоров. Меня зовут Дэн Карсон, сержант морской пехоты в отставке».

Вышел он наружу, подбросил в костёр и стоял, пока дым тянулся вверх, в холодное звёздное небо, — единственный столб дыма на весь хребет, на всю равнину, на всю страну.

И никто не отвечал.

Глава вторая

ДОМ

Дорогу вниз он выбрал ещё вечером, при свече, а наутро сверил её по склону: сорок второй лесной квартал, грейдер вдоль ручья, два мёртвых распадка — и только потом асфальт. Шоссе исключалось сразу. По шоссе ездят те, кому некуда деваться; ему деваться было куда. Три года он готовил подвал, и теперь подвал ждал в трёх милях от городской черты. Это уже не нравилось ему заранее. Но сначала нужно было спуститься и посчитать.

Утро он прожил по расписанию, как проживал каждое утро: поднялся до света, растопил печь, поставил котелок. Вода из ручья сегодня кипятилась дольше положенного — он смотрел на неё и не решался признаться себе, что стал смотреть на воду по-другому. Десятую зарубку он поставил на рукояти топорика, посчитал все, от первой, и вышло одиннадцать дней с того дня, как он увидел дым. В журнале, под вчерашним, он написал: «Ухожу вниз. Дом, инвентарь, топливо. Коутс — в последнюю очередь». Антенну со сука он снял и смотал, трансивер убрал в рюкзак: вечерний сеанс он проведёт, где бы его ни застало, расписание есть расписание.

К пикапу он вышел затемно. Скинул маскировочную сеть, свернул аккуратно — сеть ещё послужит, — и достал из-за сиденья плоский армейский ящик, который возил одиннадцать лет и ни разу не вскрывал. Купил его в четырнадцатом году, когда по телевизору неделями показывали лихорадку Эбола и людей в белых костюмах; тогда кассирша в армейском магазине улыбалась, и он улыбался в ответ. Внутри, упакованное и промаркированное его рукой, лежало: четыре полумаски-респиратора, коробка фильтров к ним, нитриловые перчатки, два белых комбинезона, садовый распылитель и банка хлорки в гранулах. Сверил он всё со списком, приклеенным к крышке изнутри, и положил на сиденье рядом с собой респиратор и перчатки. Воду взял свою, кипячёную, в стальной фляге. Сорок пятый калибр — на бедре, винтовка — вдоль спинки сиденья, прикладом вниз.

Спуск занял час с лишним. Лесная дорога текла под колёсами привычно, и от этой привычности делалось хуже: тот же гравий, те же выворотни, тот же длинный траверс над распадком, а мир внизу закончился две недели назад. Дыма над равниной почти не осталось — город догорал, и столбы, которые он видел с гряды, сменились низкой грязной пеленой, ползущей вдоль земли. Пахло даже здесь, наверху: не гарью — тем, другим, сладковатым. Дэн ехал с поднятыми стёклами и следил за ветром по верхушкам елей.

Первую машину он увидел за милю до грейдера. Минивэн лежал в кювете на крыше, колёсами вверх, и вокруг него желтела вытоптанная осока. Дэн притормозил на своей стороне, вышел не сразу: сначала посидел минуту, глядя по сторонам, потом надел респиратор, натянул перчатки и только тогда перешёл дорогу.

В машине была семья. Отец — за рулём, мать — рядом, двое детей в заднем ряду, пристёгнутые. Стёкла подняты, кондиционер, видимо, гнал воздух до последнего: люди ехали спасаться и везли лихорадку с собой, как багаж. К стеклу над детским креслом изнутри был прилеплен рисунок — солнце, дом, четыре фигурки с большими ладонями, — и Дэн долго смотрел на него, потому что больше смотреть было не на что. Руки его ничего не хотели делать. Постоял, вернулся к пикапу, достал карту и поставил на обочине крестик и цифру: четыре. Крестик

означал: объезд, не подходить, ветер. Он ещё не знал, что ставит первую отметку в карте, которая через год будет изрешечена ими, как лист мишени.

У грейдера начинались первые дома. Раньше он проезжал здесь сто раз, не глядя; теперь вёл машину медленно, второй передачей, и читал улицу, как читают след. Почтовый ящик с поднятым флажком. Садовый шланг, брошенный поперёк дорожки, — из него не текло. Гараж с распахнутыми воротами, и внутри, на верстаке, разобранный мотор косилки, по которому уже легла пыль. У самого выезда на грейдер стояла заправка — четыре колонки, магазинчик, надпись на окне, которую он разглядел только подъехав ближе: «ЗАКРЫТО. БОЛЬНЫЦА. ВСЕ». Подпись была свежая, маркером, и последнее слово стояло вместо любой другой вести, которую человек хотел оставить. Дэн не стал вылезать. Посмотрел он на колонки и подумал то, что отныне будет думать всякий раз: под землёй тут стоят три цистерны, тысяч по десять галлонов каждая, и у них остался один живой покупатель на весь штат. Бензин в подземных ёмкостях держится месяцы, он это знал и вписал заправку в карту, как вписывают источник воды. Потом поставил свою отметку и поехал дальше.

У церкви на углу стоянка была полная: люди пришли сюда в будний день, среди недели, и Дэн не стал смотреть, чем это кончилось, — отметил краем глаза сгрудившиеся у дверей силуэты и прибавил газу. Ловил он себя на том, что прислушивается к одному звуку, которого не было: не лаяли собаки. В этой части округа лаяли всегда — на машину, на велосипедиста, на ветку. Теперь улица проплывала мимо стёкол в полной собачьей тишине, и где-то внутри, холодно и отчётливо, он понял: собаки ещё будут. Позже. Другие.

Птицы вели себя как ни в чём не бывало. Сойка кричала с клена, воробьи дрались под крышей кормовой лавки, и нормальность этого была хуже любого крика: зверям и птицам лихорадка не досталась, мир продолжался без людей, и ему было всё равно.

Дом его стоял в конце улицы, где она обрывалась в поле. Один этаж, металлическая крыша — он перекрывал её сам, восемь лет назад, думая о лесных пожарах, — дровяной сарай, колодец с электронасосом и ручной качалкой, которую он поставил второй строкой, на случай беды. Беда пришла, и насос стоял мёртвый, а качалка ждала. Дэн объехал дом, заглушил мотор за амбаром, с подветренной стороны, и обошёл участок пешком, с винтовкой наперевес: двери целы, окна целы, на пыльной дорожке его собственные следы двухнедельной давности — и больше ничьих. К дому, сколько он мог судить, никто не подходил. Или подошедшие не дошли.

Внутри пахло закрытым жильём — пылью, деревом, застоявшейся водой в сифоне. Не смертью. Выдохнул он и только тогда понял, что держал дыхание с порога. На кухне всё лежало, как он оставил: чашка ополоснута и вверх дном, приёмник на подоконнике выключен, календарь — сентябрь, обведённая пятница, день отъезда. Дэн постоял посреди собственной кухни, и на него глянула отсюда чужая, докатастрофная жизнь: магниты на холодильнике, счёт за пропан, ключи на гвоздике. Задерживаться он не стал. Времени на это не было, а было оно или не было — вопрос, который он пока не задавал.

В подвал он спускался с фонарём, хотя помнил каждую ступень.

Стеллажи стояли рядами, как он их оставил. Шёл он вдоль них с фонарём и считал вслух, потому что счёт вслух надёжнее: не собьёшься. Консервы собственной закатки — мясо, фасоль с копчёностью, тушёнка из оленины двадцать второго года, — четыре полки, сто двенадцать банок. Магазинные — кукуруза, горошек, персики, спам, который он терпеть не мог и покупал

исправно, — шесть полок. Рис и бобы в бакетах под гамма-крышками, восемнадцать бакетов. Мука в майларе, сахар, соль — соль он считал отдельно и пересчитал дважды: шестьдесят фунтов каменной и двадцать йодированной; на одного человека и на заготовку мяса это годы, и всё же он пометил: брать всю. Вода — две бочки по пятьдесят пять галлонов, закрытые в мае, плюс двенадцать ящиков бутилированной. Керосин для ламп. Пропан — четыре баллона во дворе, пятый на плите. Аптечка занимала два ящика: перевязка, шовный набор, и отдельно, в жестянке из-под печенья, антибиотики с ветеринарной выставки — аквариумный амоксициллин, таблетка в таблетку с человеческим, он сверял по каталогу и знал, что делает. Боеприпасы: триста патронов к тридцать-ноль-шесть, двести к сорок пятому, кирпич двадцать второго — тысяча штук, для мелкой добычи и для экономии крупного. Инструмент на стене, по контурам. Книги на двух полках — справочник по полевой медицине, армейские наставления, атлас дорог всех пятидесяти штатов, карманная химия топлива, которую он так и не открыл.

Три года заготовок. Вторая жена называла этот подвал «его бункером» — и в слове этом всегда слышались кавычки; она ушла в девятнадцатом, и подвал был среди причин, хотя и не главной. Главная была старше: он умел хранить, считать, готовить — и не умел сказать человеку, зачем тот ему. Подвал остался. Жена ушла. Стоял он посреди подвала и ждал от себя чего-нибудь — облегчения, торжества, хоть чего-то, — и не дождался: внутри работал только счёт. Одному человеку этого хватит надолго. Это было единственное, что что-то значило, и единственное, что не значило ничего.

Поднялся он наверх, налил из фляги кипячёной воды и сел за кухонный стол с журналом. За окном, за полем, в трёх милях начиналась городская черта. Он смотрел в ту сторону и раскладывал по полочкам, как раскладывал всё.

Ветер здесь стоит вечером с гор — чистый. По утрам, когда равнина прогреется, потянет снизу, от города. Знал он уже, чем пахнет там; после блокпоста этот запах стоял у него в памяти отчётливее любой карты. Зима закроет город холодом, и холод будет работать на него. Потом придёт апрель, оттепель, и город вспомнит о себе — за три мили ветер донесёт всё, что можно донести. Следом крысы, которые пойдут от города по воде и по запаху, и стаи собак, которые уже перестают бояться. Дом деревянный. Участок открытый. Колодец — в пойме ручья, текущего с той стороны.

Дом в трёх милях от городской черты — это не база. Это крыло морга, в котором пока убрано.

Записал он вывод в журнал и под ним, отдельной строкой: «База — не здесь». Место под базу у него было присмотрено давно, ещё с тех пор, как он ездил по округу с картой и карандашом и отмечал всё, что может пригодиться человеку после конца света: в горном посёлке за сорок миль, под старой школой, числилось убежище гражданской обороны, бетон шестидесятых годов. Числилось — не значит существовало; сначала разведка. Но разведка — после. Сначала — вывезти отсюда всё, что не потерпит города рядом.

Вышел он на крыльцо и посмотрел на солнце. До вечернего сеанса — четыре часа. За четыре часа с домом можно было покончить, если не считать последнего дела, которое он откладывал с самого утра.

Три мили на север жил Эрл Коутс, и раз в неделю, по средам, Эрл проверял его почтовый ящик.

Свой ящик он проверил по дороге, притормозив у поворота. Флажок поднят — так он сам оставил перед походом: внутри лежало письмо в ветеранский департамент, которое он никак не решался бросить в ящик в городе и в конце концов бросил в свой, от греха. В ящике лежали рекламные листки, каталог семян и счёт. Две среды — никто не приезжал. Эрл не приехал в среду первую, и в среду вторую тоже.

Дэн стоял у ящика и считал. Лихорадка взяла город двенадцать дней назад, если верить эфиру и дыму. Эрл отсутствовал дольше. Цифры не ложились друг на друга, и он поехал к Эрлу — с респиратором на шее, с перчатками в кармане, против всякого здравого смысла, который говорил: живых там нет, а мёртвые подождут. Поехал он, потому что Эрл проверял его ящик семь лет, и это было единственное, что ещё держало их обоих в одном мире.

Дом Коутсов — Эрл остался в нём один после жены, лет двадцать как один, — стоял в сосняке, в конце грунтовки, и Дэн узнал всё ещё с поворота: дымок, которого не было; пикап Эрла у крыльца, дверца открыта; и на крыльце, в кресле-качалке, сам Эрл. Он сидел лицом к дороге, в фланелевой рубахе, в расшнурованных ботинках — он всю жизнь расшнуровывал их, садясь, и никогда не шнуровал обратно, — и с кружкой в остывшей руке. Кружка не упала. Кресло качнулось раз, на ветру, и остановилось.

Дэн долго стоял у машины, держась на чистой стороне ветра, и только потом пошёл вперёд — остановился в десяти шагах, потом в пяти. Подходить ближе не требовалось: лихорадка читается и так, сыпь видна на кистях. Эрл умер здесь, на крыльце, глядя на дорогу, по которой никто не ехал, — дней десять назад, может, больше.

В дом Дэн вошёл в респираторе и перчатках и ничего в нём не трогал руками. Дом был аккуратный, стариковский, пах воском и табаком. На кухонном столе — банки с закаткой, ровный квадрат, Эрл готовился к зиме, как готовился каждый год. У двери прислонён его двадцать второй калибр — выходил не воевать, выходил сидеть. За окном кухни Дэн разглядел огород — убранный, чистый, с подвязанной к колышкам ботвой, — и поленницу под навесом, в два ряда, до крыши: Эрл стоял к зиме лучше, чем иной гарнизон. Всё это досталось теперь ветру и мышам, и Дэн, глядя на поленницу, поймал себя на чужой мысли, не приказной: надо будет приехать за дровами, пока их не растащил снег. Старику дрова больше не нужны, а мёртвым нельзя оставлять добро — так говорила его мать, и он впервые за шесть лет вспомнил её голос не как боль, а как распоряжение. На стене висел календарь с отметками, и Дэн простоял перед ним дольше всего. Эрл помечал всё: «помпа», «зубной», «церковный сарай» — и тут же, второго сентября, одно слово: «город». Дальше календарь был пуст.

Второе сентября. Дэн стоял и складывал в уме, старательно, как клал патроны в обойму. Второго Эрл съездил в город — за чем-нибудь пустяковым, за гвоздями, за табаком. Тремя днями позже Дэн ушёл в горы. Инкубация — до шести суток. Эрл вернулся к себе в сосняк, ни с кем не виделся, не ездил никуда, жил, как жил двадцать лет, один, — и умер у себя на крыльце, с кружкой, глядя на дорогу. Одиночество не спасло его. Оно просто сделало так, что некому было услышать кашель.

Вышел он на крыльцо, постоял, потом достал из сарая брезент, старый, рыжий, и накрыл Эрла, действуя концами и краями, не касаясь. Брезент он придавил камнями от клумбы. Больше он ничего не мог сделать сейчас, а что будет «потом» — он не знал.

Колодец у Эрла был свой, артезианский, и вода в нём стояла чистая и холодная, и Дэн, вернувшись к машине, долго смотрел на свою флягу. Кипячёная. Кипятил он воду всю жизнь, по привычке, вбитой ещё по ту сторону океана, и никогда не думал, что привычка эта когда-нибудь встанет между ним и смертью — если вставала. Третья версия нравилась ему меньше всех, потому что её нельзя было проверить и нельзя было вычеркнуть.

Прежде чем тронуться, он открыл журнал и записал четыре строки. Рука его не дрожала, и это была ложь, потому что дрожала.

«Эрл Коутс. Контактов не было. Всё равно.

Город — 2 сентября. Инкубация — до 6 суток. Одиночество не защита.

Версии: 1) он привёз её из города сам, до всех, — проверить нельзя; 2) воздух — подъезд, вентиляция, общий чердак: для города сходится, для этого дома нет; 3) вода. Если вода — спасал только тот, кто кипятил.

Проверить нельзя ни одну. Действовать по худшей: кипятить всё. Всегда.»

И ниже, отдельно, он вывел и подчеркнул дважды: вода — только кипячёная. Даже своя. Даже из бочек, закрытых в мае. Особенно чужая.

К дому он вернулся, когда солнце ушло за хребет и свет стал рыхлым. Грузил по списку, составленному ещё до полудня, и список был выстроен не по весу и не по объёму, а по единственному принципу: сначала то, чего нет ни в одном магазине мёртвого города, — потом остальное. Город полон консервов и инструмента, город подождёт. Не подождут: семена в стеклянной банке, отобранные по урожайности три года подряд; справочники с полки; шовный набор и жестянка с антибиотиками; соль; инструмент, который он знал по рукояткам; боеприпасы — все триста, все двести, весь кирпич; топографические карты и компас. Еду он брал в последнюю очередь и немного: консервы на месяц, один бакет риса. Бочки с водой остались стоять — двести галлонов в кузов не везут, к ним нужно приехать с прицепом, и прицеп он вписал в план на завтра. Работал он молча и в том порядке, который отработан десятками вылазок на охоту: тяжёлое вниз и к кабине, хрупкое сверху, каждый ярус стянут, каждая стяжка проверена рывком. Бензин он считал отдельно, на клочке от каталога семян: бак полон, канистры полные, двадцать галлонов, плюс то, что лежит под землёй у закрытой заправки и у тысячи таких же по всему округу. Топлива в мёртвой стране было много — до той поры, пока оно не начнёт портиться; до весны хватит, а про весну он думать отказывался, потому что на весну у него ещё не было плана, а был один человек, один пикап и сорок миль до места, которое ещё нужно было посмотреть.

Поднялся он на крыльцо в последний раз, чтобы закрыть дом. На кухне остался календарь с обведённой пятницей; Дэн снял его со стены, положил в ящик со справочниками — пусть едет, бумага лёгкая, — и только тут заметил, что делает: он увозит не вещи, он увозит след. Снаружи дом остался цел, и с дороги в нём ничего не убыло.

Ровно в восемнадцать ноль-ноль он оторвался, сел в кабину и включил рацию. Сперва он прошёл по диапазонам медленно, как делал это каждый вечер: аварийная любительская, морской канал, петля FEMA — в петле больше не было даже вальса, одно ровное дыхание эфира. Потом он вызвал по форме: позывной, частота, «я здоров, я на Фронт-Рэндже», выдер-

жал тридцать секунд, повторил. День считался без расписания, и всё же в шесть вечера он был у микрофона — как человек, который в мёртвом доме застилает постель. Записал он в журнал: «18:00. Передавал по расписанию. Эфир пуст». Эфир был пуст ровно, без трещин, и он уже начинал различать сорта этой пустоты, как различают сорта тишины в лесу.

После сеанса он стоял у открытого кузова и смотрел на дом. Вечерний ветер шёл с гор, чистый, холодный, пах хвоей и первым снегом где-то на вершинах. Дом был цел. Под ним лежало три года его жизни, разложенные по полкам, и завтра он приедет с прицепом и начнёт разбирать собственный дом на склад, как разбирают на запчасти исправную машину. Думал он об этом без чувства и насторожился именно на этом: чувство должно было быть. Прожил он здесь одиннадцать лет. Но дом оказался тем, чем оказался, — крылом морга, удобным, обжитым, со справочниками, — и Дэн вписал его в план, как вписывают отработанный узел: снять, что снимается, остальное законсервировать.

Собаку он увидел, уже тронувшись.

Выкатил он со двора, выровнялся на грунтовку и в последний раз глянул в боковое зеркало — по привычке, как глядят на дверь, которую закрыл за собой. На крыльце было движение. Ударил он по тормозам прежде, чем успел подумать, сел тихо, взял винтовку и вышел из машины через правую дверь, держа кабину между собой и домом.

Крыльцо было пустым, если смотреть из машины. Обошёл он дом против часовой, по-своему, заглядывая под скулы окон, проверяя углы, и нашёл его с тыльной стороны крыльца: пёс стоял на верхней ступени, там, откуда его не было видно с дороги, и смотрел на Дэна в упор.

Пёс был огромный — девяносто фунтов, а может, и сто, — лохматый, облезлый, с запёкшейся грязью на боках. Когда-то домашний: на исхудавшей шее болтался ошейник, красный, с пустым брелоком, где раньше звенел медальон. В нём угадывалось что-то от маламута, что-то от овчарки, и ещё что-то, давшее ему тяжёлый лоб и короткие уши. Он не рычал. Не вилял хвостом, не жалобился, не подходил. Стоял и смотрел, чуть наклонив голову, и во взгляде этом не было ни просьбы, ни угрозы — только оценка, холодная и ровная, как у человека, который сам решает, подойти или нет.

Дэн опустил винтовку. Крикнуть, свистнуть, сказать «пошёл» — всё это он отбросил сразу: с этим зверем такие вещи больше не работали, это читалось по нему, как читается по земле, что здесь был паводок. Пёс стоял на крыльце дома, который был не его, в трёх милях от города, который съел его людей, и ждал — не от Дэна; просто ждал, потому что ждать было единственным, что у него осталось из прежней работы.

— Ну, — сказал Дэн.

Пёс повёл ухом. Больше ничего.

Дэн сделал полшага в сторону — пёс проводил его глазами, не поворачивая головы, и не сдвинулся. Он стоял на верхней ступени так, чтобы держать в виду и дверь, и дорогу: постовая стойка, выученная когда-то, — только поста за его спиной больше не было. Рёбра у него ходили под шкурой, когда он дышал, и дышал он коротко, по-голодному. Дэн подождал, не решится ли зверь сам — спуститься, уйти, зарычать наконец, — но пёс не собирался ничего решать. Он уже всё решил: стоять.

Дэн вернулся к кузову и под взглядом пса стал проверять стяжки — те самые, которые затянул час назад. Рукам нужно было дело. В кузове лежал его запас: сублиматы, консервы, рис — еда человека, рассчитанная на одного. Достал он банку тушёнки двадцать второго года, собственной закатки, постоял с ней — и поставил обратно. Банка кормит человека день. Псу она ничего не решит, а привычку заведёт: он придёт завтра, послезавтра, будет ждать у пустого дома. Не заводи того, кого не сможешь прокормить. Не приручай того, кто умрёт у тебя на руках. Не привязывайся: привязка — это расход. Захлопнул он борт, и лёгкость, с которой это у него вышло, ему самому не понравилась.

Сел он в кабину и дал газу плавно, без лишнего шума. В зеркале пёс оставался на крыльце — не садясь, не ложась, глядя вслед, и в этом взгляде уже не было ничего домашнего. Дорога повернула, зеркало опустело, и Дэн смотрел в него ещё секунду после того, как смотреть стало нечего.

Глава третья

ГОРОД

Вчерашний день ушёл на бочки: два рейса с прицепом, четыреста с лишним галлонов воды, поднятые наверх и укутанные от мороза, как дети. Сегодняшний был записан в журнале заранее, одним словом: «Город».

Готовился он с вечера и с утра перепроверил всё по списку, потому что список не нервничает. Вечером, после сеанса, он сидел над картой города до темноты и выбирал точку первого удара — не ближнюю, не жирную, а правильную: с западным входом, с наветра, с одной дорогой отхода. Утром он поднялся до света, растопил печь, вскипятил воду — смотрел на неё ровно столько, сколько решила рука, — позавтракал стоя и перепроверил всё по списку. Белый комбинезон — поверх одежды, манжеты на скотч, ботинки те самые, дворовые, которые живут на крыльце и не переступают порога. Респиратор со свежим фильтром; фильтр он сперва вынул из коробки, подписал маркером — «№1, 26 сентября» — и только потом ввернул: фильтры отныне расходный материал, и учёт им будет, как патронам. Перчатки двойные: нитрил поверх, рабочие снизу. Садовый распылитель с хлорным раствором — столовая ложка гранул на литр, он помнил концентрацию по инструкции, которую когда-то вклеил в крышку ящика. На сиденье — фляга с кипячёной водой: в городе он не пил и не ел, это даже не записывалось, это дышалось. В кузов — пустые мешки, нож, ломик, верёвки. И брезент, который он с тех пор не выбрасывал: чужой, рыжий, постиранный хлоркой дважды.

Выехал он затемно, чтобы войти в город, пока ветер горный. Прицеп он подцепил ещё с вечера, проверил фонари — работали, что в новом мире было уже необязательно, — и цепи безопасности перекрестил, как учили когда-то: если сцепка сорвётся, прицеп ляжет на крест, а не в кювет. План был написан в журнале и лежал рядом с фильтром: он едет не «в город за всем», он едет по адресу, за списком, на три часа. Разница между этими двумя поездками — та самая, что между грибником и грузчиком; грибниками умирали. До равнины воздух тек вниз, с хребта, чистый и холодный; к полудню равнина прогреется и потянет вверх, городским, и к этому часу он собирался уже ехать домой, встречным, на чистой стороне. Прицеп за спиной пустой и грохотал на ухабах, и этот грохот был единственным звуком на весь мир.

Город он увидел издалека, а учуял раньше.

На последней эстакаде перед чертой — над железнодорожной горловиной, где Денвер раскрывался весь, — он встал, вышел и десять минут смотрел в бинокль, не двигаясь. Смотрел так, как учили когда-то смотреть на улицу перед переходом: не на всё сразу, а секторами, слева направо, от дальнего к ближнему. Дым — два очага, оба далеко на севере, оба ленивые: горело уже не городское, а то, что в городе ещё находило, чем гореть. Движения — ни одного: ни машины на эстакадах, ни фигуры на крышах, ни дымка от костра, которым кто-то греет руки. Город лежал ровно и широко, как лежит карта, — и как карта, он ничего не говорил о том, что у него внутри. Дэн отметил в блокноте два дымных очага с азимутами, сел в кабину и поехал вниз. Бинокль он положил на сиденье открытым: в городе смотрят всегда.

Сначала он решил, что это низкая гарь догорающих кварталов — она стояла над северной стороной третью неделю. Потом ветер качнулся, и Дэн понял, что дышать придётся не гарью.

Он остановился на последнем подъёме перед чертой, надел комбинезон, респиратор, перчатки, обработал распылителем дверные ручки — свои собственные, от себя самого, потому что порядок есть порядок, — и поехал вниз, в запах. Респиратор брал многое. Респиратор не брал всего: через фильтр, через резину, через стиснутые зубы проходило то, чем пахнет страна, умершая две недели назад. Он дышал ртом, мелко, и вёл медленно.

Проспект, по которому он вошёл в город, был забит машинами в одну сторону — к выезду на автостраду, к эвакуационному коридору, о котором когда-то объявляли по радио. Все четыре полосы стояли бампер к бамперу, и встречная сторона была пуста: бежали все, приехал никто. Дэн ехал по пустым встречным полосам второй передачей, и это было почти спокойно, если не смотреть направо. Он смотрел. Смотреть было его работой теперь: считывать, запоминать, отмечать. У перекрёстка стоял полицейский крейсер, распахнутый настежь, рация на полу выплюнула провод. Автобус прижался к бордюру, и за его стёклами ряды голов казались пассажирами, которые задремали по дороге, — казались ровно секунду, ровно до мухи на стекле. Из окна серого седана свешивалась рука с больничным браслетом, и Дэн поймал себя на том, что притормаживает, — закрыть, поднять, убрать, — и поехал дальше, потому что рука была одна, а город был весь. Это он отметил в себе сухо, как отмечал всё: желание было. Масштаб его отменил.

Больничный комплекс он обошёл за полмили, по параллельной улице, и даже оттуда видел: палатки на парковке, армейские грузовики, въезд, забитый встык. Внутри больницы лежало то, что лихорадка делала в первую очередь и чем кончала. На карте против этого квартала он поставил знак, которого в его легенде тоже раньше не бывало, и подписал не глядя, одной рукой, на руле: «не туда». Больница — это не склад лекарств, это эпицентр. Туда он пойдёт, только если без выбора, — и записал это тоже, чтобы потом, когда будет больно или нужно, держаться собственного почерка.

Светофоры стояли тёмные, и он проезжал перекрёстки медленно, по привычке притормаживая, — привычка странная в городе без единой машины, но он знал её цену: порядок держится не на необходимости, а на повторении. У третьего перекрёстка висел дорожный щит с табло, и табло, пустое и чёрное, всё равно говорило ему то, что говорило две недели назад, когда мигало над этим же проспектом: уезжайте. Все уехали. Он въехал.

У супермаркета с красной вывеской он выбрал его не глазами, а стоянкой: полная стоянка при закрытых дверях — люди пришли и не ушли; полупустая при вскрытых — пришли, взяли, ушли. Эта стоянка была полупустой. Двери вскрыты в первые дни, вывеска цела, и главное — на ветру: вход смотрел на запад, к горам. Дэн поставил пикап носом к выезду, прицепом к входу, заглушил и минуту сидел, слушая. Потом вылез, обработал распылителем ручку тележки, выдернул её из гнезда и пошёл к дверям: винтовка в руках, ломик заткнут за ремень рюкзачного пояса.

Правила были простые, и он продиктовал их себе вслух, на пороге, шёпотом за резиной: ничего не трогать голыми руками. Ничего не заносить в кабину. Не наклоняться к тому, что лежит. Не входить туда, откуда один выход, не посмотрев, что за ним.

Внутри было темно — витрины на северной стороне давали серый свет, дальние ряды тонули в нём. Дэн стоял у входа, давая глазам привыкнуть, и слушал. Магазин пах по-разному: у дверей — гарью и пылью, дальше — прокисшими молочными стеллажами, а подо всем, ровным фоном, — тем же, что и город. Где-то капало. Фонарь он включил только убедившись, что

в зале никто не движется, и даже тогда повёл лучом не спеша, по полкам, по полу, по кассам. У дальних касс лежал человек, и Дэн не пошёл туда. Сегодня у него была другая работа.

Сперва он обошёл зал весь, пустой тележкой не гремя — оставил её у дверей, — и сделал то, что делал всегда перед работой в чужом месте: прочитал его. Сорок минут, ряд за рядом, луч по нижним полкам, где прячется то, что живо, и по верхним, где лежит то, что осталось. Овощной ряд стоял коричневой жижей в разорванных сетках; он обошёл его стороной. Мясной отдел вонял так, что резина респиратора казалась шуткой, и он отметил про себя: сюда без нужды — ни шага. Хлебный, молочный, пивной — пустые. Крупяной, соляной, консервный — стоящие. В подсобку вели две двери: служебная у мясного ряда и двустворчатая в дальнем углу, за складскими стеллажами, и на двустворчатой не было замка, только штабель пустых поддонов перед ней — кто-то в первые дни отгораживался от очереди, а потом перестал. Это Дэн тоже отметил. В магазине, как в лесу, всё было написано для того, кто умеет читать.

Разграбление читалось, как отчёт. Хлебный ряд вычищен до поддонов. Молочные стеллажи — пустые, и оттуда тянуло хуже всего. Пивная стена выставлена голой, как полка после инвентаризации: уносили ящиками. Вода — вся, до последней бутылки, вместе с тележками, в которых её вывозили: две тележки так и стояли у касс, следами колёс к двери. Дорогое спиртное взяли всё — виски, коньяк, текила; нижняя полка, пластик, дешёвая водка, стояла почти нетронутой: мародёр первых дней брал праздник, а не средство. Крупяной ряд мародёр пропустил почти целиком: пятидесятифунтовые мешки риса стояли штабелем, соль — паллетом, мука, бобы, сахар. Брали то, что едят сегодня. Не брали то, из чего готовят. Люди, опустошившие этот магазин, собирались жить неделю; никто из них не собирался жить год.

Дэн достал список и карандаш и работал три часа, не разгибаясь до конца — в комбинезоне было жарко, фильтр сопротивлялся каждому вдоху, пот стекал за воротник, и он экономил дыхание, как экономил всё. У дальних касс, в боковой проход, он нашёл складскую тележку с платформой — роклу, рабочую лошадь всех магазинов мира, — и работа пошла вдвое быстрее: мешки перестали существовать поштучно и пошли рядами. У одной из касс стояла брошенная тележка, полная под завязку: двенадцать упаковок воды, детское питание, игрушечный самолётик сверху — чья-то паника, составленная в список и оставленная у ленты, когда лента перестала что-то значить. Дэн прошёл мимо неё, как мимо заброшенного костра: всё, что могла сказать эта тележка, она уже сказала. Тележка ходила от ряда к прицепу: восемь мешков риса, двести фунтов соли — сначала каменная, потом йодированная, — мука, сахар, бобы в мешках по десять фунтов, овсянка, масло растительное ящиками, кофе — целый стеллаж, он взял половину и отметил остаток. Спички, свечи, батарейки — батарейный ряд был обглодан, но не до конца: крупные элементы для фонарей остались, он забрал все. В хозяйственном ряду он взял то, чего не берут никогда и что дороже соли: крышки для закатки, все, до последней упаковки, — стеклянных банок в мёртвой стране больше, чем живых людей, а крышка у банки одноразовая. Стоя перед этой полкой, он коротко подумал о том, как меняется цена вещей: две недели назад здесь выбирали телевизоры. Из водочной полки он взял два ящика самой дешёвой водки в пластике и поставил их в кузов отдельно, не в прицеп: жить этому на будущей базе, рядом с аптечкой. «Антисептик, — написал он в журнале позже, против строки „водка, 24 бутылки“. — Спирт кончается. Это гонится». Что до приёма внутрь — протокол протоколом, но рюмка в нём значилась с самого начала, и оба они это знали. Строительный ряд он не трогал сегодня вовсе — инструмент у него был свой, знакомый по рукояткам, — но обошёл его и записал в блокнот: гвозди, саморезы, брус, цепи, лебёдки ручные. Город предстояло не только разобрать. Город предстояло держать под рукой, как склад у дороги, — со списком, что в каком ряду лежит.

Каждый выезд к прицепу он делал одной дорогой, и дорогу эту он держал чистой: обработанная тележка, обработанные ручки дверей, ничего лишнего не касается. Груз он не стягивал — не до того: город стоял тихо, но Дэн не верил тишине бесплатно. У дверей он всякий раз останавливался и слушал парковку, прежде чем выкатить тележку. Всё было тихо. Воробьи копошились в разбитой тележной станции. Один раз по соседней крыше прошла кошка — облезлая, огромная, — посмотрела на него сверху и ушла, не ускоряясь.

Последним по списку стоял подсобный склад: за торговым залом, за двустворчатой дверью, должны были лежать нераспакованные паллеты — то, чего мародёр не видел вовсе. Дэн отметил время, проверил лучом проход и пошёл между стеллажей к двери. Двустворчатая была приоткрыта на ладонь, и прежде чем тронуть её ломиком, он заглянул в щель: луч достал дальнюю стену склада, и Дэн замер. Паллеты в заводской плёнке, целые, нетронутые — соль, сахар, консервы сетевой марки рядами до потолка. Мародёр первых дней в подсобку не ходил: мародёр брал то, что видно. За этой дверью стоял лучший груз дня — месяц базы на одной стене. Он уже тянулся к створке, когда услышал шорох.

Шорох поднялся из темноты справа, снизу — и ружьё встало у плеча раньше, чем он решил его поднять.

Шорох не был шорохом одного зверя. Он был плотный, многослойный, как ворошат опилки, и шёл из темноты под длинным стеллажом у стены. Дэн поднял фонарь. Луч уперся в полумрак под нижней полкой, и полумрак этот шевельнулся весь: крысы стояли там плотно, плечом к плечу, ряд за рядом, сколько хватало луча, — и не разбегались. Они стояли и смотрели на свет. Десятки пар глаз блеснули ровно, без суеты, без писка, и ни одна крыса не сделала того, что крыса делает всегда. Дэн знал крыс: от склада до амбара, крыса — это движение прочь, метка вдоль плинтуса, пустота там, где ты шагнул. Эти стояли. Они смотрели на него, как смотрят на погоду.

Выстрел он отбросил сразу и даже не считал это решением: хлопок тридцать-ноль-шестого в бетонной коробке склада услышали бы за милю, а объявлять себя — не входило ни в один его план. Патрон в стволе стоил дороже, чем соль за его спиной: соль можно найти завтра в другом месте, тишину — нельзя. Он стоял и держал луч, и крысы держали его, и это было переговорами без слов, на которых каждая сторона считала другую.

Он отступил первым. Не развернулся — попятился, держа луч и дуло на полке, три шага, пять, десять, пока двустворчатая дверь не качнулась перед ним обратно. Обратную дорогу через зал он прошёл тем же порядком — спиной к выходу не поворачиваясь, луч по нижним полкам, слух на пределе, — и всю дорогу ждал, что шорох поплывёт следом, по проходам, по-своему, неторопливо. Шорох не поплыл. Крысы остались у своей стены, у своей двери, и то, что они не пошли за ним, было хуже погони: за добычей гонятся, а того, кого не боятся, просто отпускают. У прицепа он выгрузил из тележки последний мешок — он не оставлял груз, груз был честно вывезен из-под их глаз, — закрыл борт и только тогда заметил, что рука на борте лежит вразнобой с дыханием. Он, который в своё время выходил из города под огнём и шёл ровно, отступил сейчас от полки с крысами, и это далось ему труднее любого отступления, которое он помнил. Не страх — отчёт: что-то в этом городе изменилось за две недели, и изменение это имело зубы. За двустворчатой дверью осталась стоять целая стена соли в заводской плёнке — лучший груз дня, месяц базы, — и он не вернулся за ней. В план на завтра он впишет её с пометкой «вернуться», и оба они, он и пометка, будут знать, что это наврёт.

У пикапа, прежде чем сесть в кабину, он достал карту города и сделал то, ради чего, если честно, и был весь день: свёл на неё добытое. Против красной вывески он вывел карандашом, что магазин ещё держит: риса осталось мешков двадцать, мука и бобы лежат на своих полках, а вода, батарейки и крышки кончились начисто — и отдельно, мелко, пометил подсобку с целыми паллетами. Город на этой карте отныне не умирал — он вёлся в учёте, и это было единственное, чем Дэн мог ему ответить.

На парковке ветер уже переменился. Горный поток иссяк, равнина прогрелась, и воздух пошёл вверх по склону — городским, тёплым, густым. Дэн посмотрел на запад, где дымка над кварталами дрожала и текла к горам, и сказал вслух одно слово: «Домой». Это тоже был пункт протокола, только незаписанный: уйти до того, как погода в городе обернётся против тебя.

Обратно он ехал той же встречной стороной, стёкла подняты, вентилятор выключен — салон он держал герметичным, как держал всё, что должно остаться чистым. Груз сзади поскрипывал на стяжках, и он слушал этот скрип, как слушают мотор: равномерно — значит, лежит; сменится — остановлюсь. Город провожал его одинаково: ни окрика, ни движения. У съезда на автостраду стоял эвакуационный коридор, который страна строила в последнюю свою неделю: шатёр сортировки, ряды биотуалетов, автобусы, загнанные подковой, и у шлагбаума — машины, прижавшиеся так плотно, что водители не смогли открыть двери. Дэн объехал коридор дальним объездом, по обочине торгового ряда, и не стал считать. Считать это он придёт когда-нибудь потом, с картой, в перчатках, если будет зачем. Не будет зачем.

У поворота на свою улицу он сбросил скорость. Крыльцо его дома, видимое издали между соснами, было пусто. Он смотрел на него дольше, чем требовал поворот: вчерашний пёс ушёл — или лежал там, откуда его не видно с дороги. Следов читать он не стал, потому что не остановился; не остановился, потому что нечем было. В кузове стояли рис и соль, рассчитанные на одного, и арифметика эта была простой и честной с обеих сторон. Дэн поехал дальше. В зеркале крыльцо так и осталось пустым — и он снова, как вчера, смотрел в зеркало дольше, чем в нём было что смотреть.

Домой он въехал за час до сеанса. Прицеп он отцепил на открытом месте, в тридцати шагах от сторожки, и там же, на ветру и на солнце, оставил груз стоять двое суток — отстой, как он записал в журнале: «Всё, что из города, молчит двое суток, прежде чем войти». Проверить это было нельзя никак; двое суток он принял потому, что двое суток мог себе позволить, а ошибку — нет. Водку он снял с кузова сразу, отнёс под навес и поставил отдельно от продуктов. Потом снял с себя город — в том порядке, который отныне будет порядком навсегда: сперва распылителем по сапогам и перчаткам, сверху вниз, не пропуская шнуровки; перчатки — наружу в мешок, нитрил отдельно от рабочих; комбинезон — свёрнутым валиком, белым внутрь, туда же; мешок завязан, на отстой, к грузу. Ружьё, ломик, фонарь — протёрты, выставлены на крыльце на ночной ветер. И последнее, на пороге, до того как переступить дверь: бутылка из первого ящика. Он протёр водкой лицо, шею, руки до локтей — медленно, не жалея, как умываются после пожара, — потом ладони ещё раз, и пахнущая спиртом кожа остыла на ветру. Порог он переступил уже чистый. Так будет каждый раз. Это он не записывал даже: вещи, которые делаются каждый раз, не нуждаются в журнале.

В восемнадцать ноль-ноль он сидел у трансивера, умытый, в сухом, и слушал пустоту во всех диапазонах. Вызвал по форме. Подождал тридцать секунд. Повторил. Ответа не было, и в журнале напротив времени он написал уже привычное: «Эфир пуст». А ниже, после корот-

кого раздумья, вывел отчёт о вылазке — сухой, складской, с количеством и весом: рис, соль, мука, масло, кофе, батарейки, водка. Фильтр №1 списан. Город обозримый. Город терпимый до полудня, пока ветер с гор.

Отдельной строкой он занёс два азимута, снятых утром с эстакады: 212 и 247. Дым не лжёт о месте; он лжёт о причине. Лес дал бы столб, квартал — пласт, а эти два тянулись тонко и ровно, как тянутся от печей, которые топят аккуратно. Аккуратно топят люди. Аккуратно догорают и дома, которым уже никто не мешает. Дэн обвёл оба азимута одним кружком и подписал коротко: «Смотреть издали». Ближе этого кружка он пока не собирался подходить ни к чему, что дымит.

Потом он поставил котелок — вода для завтрака, из ручья, — и смотрел, как она закипает, поймав себя на том, что смотрит давно и внимательно, как смотрят на чужую работу. Кипятить всё. Всегда. Третья версия сидела в нём крепче двух других, и сегодняшний день не опроверг её ни в чём: весь магазин пил одну и ту же воду, и весь магазин лежал у своих касс. Он снял котелок, дал ему кипеть дольше положенного — ровно настолько, насколько рука сама решила, — и не стал записывать в журнал, что меру эту он принял уже не рассудком.

В самом конце он поставил на карте новый значок, которого не было в его легенде за все годы, что он её чертил. Наводнения там были, и пожары, и карантины, и непроходимость. Этот значок он придумал сегодня и подписал коротко: «Крысы. Не боятся».

Завтрашний день он тоже расписал, прежде чем лечь: не супермаркет — аптеки. Спальные районы, маленькие витрины, список отредактирован по справочнику ещё весной, когда весна была другой. Три адреса. Четвёртый, больничный, стоял в конце списка без очереди — «не туда», — и Дэн подчеркнул это «не туда» ещё раз, маркером, как подчёркивают мины на схеме.

Потом он достал из-под навеса вторую бутылку — не для порога — и рюмку, единственную, которая нашлась в сторожке, толстостенную, гранёную, из тех, что продают в армейских лавках для антуража. Внутрь — необязательно, так он и записал в правилах когда-то; сегодня было «по необязательно». Налил немного. Поднял, кивнул пустой комнате — как кивают соседу по окопу, которого нет, — и выпил, глядя в темнеющее окно на запад, где за хребтом лежал город, отступивший ему сегодня на один шаг. Водка обожгла ровно. Протокол есть протокол: он не спорил с ним даже там, где написал его сам. Внутри было тихо. Из памяти, из-под стеллажа, на него по-прежнему смотрели крысы — и он сидел и смотрел на них в ответ, пока не стемнело окончательно.

Глава четвёртая

АПТЕКА

Утро началось с бумаги, а не с мотора.

Дэн сидел за столом сторожки, разложив на досках три вещи: сложенный вчетверо список, справочник по полевой медицине в обложке цвета хаки и толстый телефонный справочник округа, из которого он когда-то, в другой жизни, вырывал страницы на розжиг. Список был старый, весенний — он редактировал его ещё тогда, когда весна была просто весной, а не последней весной: амоксициллин, ципрофлоксацин, доксициклин; метронидазол отдельной строкой, потому что про зубы думают всегда позже, чем надо; хлоргексидин, йод, перекись; бинты, пластырь катушками, жгуты, иглы и нить — не хирургические, а обычные, потому что хирургических в аптеке не лежит, а шить всё равно придётся чем-нибудь. Напротив каждой строки он ещё весной написал дозировку и курс — по справочнику, аккуратным своим почерком, — а сейчас, карандашом, добавил в конце одно слово: «морфин». Подумал и не зачеркнул. Морфин в списке выглядел надеждой на то, что какие-то вещи в будущем будут делаться не на кухонном столе и не в полную сознательность, но надежда эта была из тех, что записывают впрок, как соль.

За окном, в тридцати шагах от крыльца, на открытом месте стоял вчерашний прицеп — груз на отстое, вторая ночь под небом. Дэн прошёл мимо него к пикапу и не остановился: отстой тем и хорош, что не требует участия. Молчит двое суток — значит, работает.

Воду в дорогу он налил из вчерашнего кипятка: фляга и термос, оба своих, оба стояли у печки с наклейками «кип» — он наклеил их ещё в первую неделю, чтобы рука в полусне или в спешке не потянулась к сырой. В машине вода из горлышка показалась ему тёплой и плоской, какой бывает вода, вскипячённая накануне, и он пил её с удовольствием человека, у которого на «плоское» есть веский ответ. Водку, вчерашнюю, двадцать четыре бутылки, он вечером переставил под навес отдельным штабелем и пересчитал дважды: шестнадцать на порог, восемь — в резерв, и рядом, на полке, уже стояло четыре литровых флакона хлоргексидина из сегодняшнего списка — стояли бы, если бы список исполнился. Спирт кончается. Антисептик, похоже, нет. Это была первая хорошая новость за утро, и он записал её в журнал раньше, чем случилась.

Сборы были короче вчерашних, потому что порядок уже существовал, а порядок — это и есть сокращение всех сборов на свете. Комбинезон из мешка, второй фильтр — он подписал его фломастером на резинке: «№2, 27 сентября», — и дату эту внёс в журнал до выхода, как вносят в судовой журнал отход, а не приход. Респиратор он надел у самого пикапа, на ветру, проверил поджатие клапанов ладонями — на выдохе маска должна дуться, на вдохе липнуть, — и только после этого завёл мотор.

Больницы в плане на сегодня не стояли. Они стояли в списке подчёркнутые — «не туда», — и подчёркнутое он читал дважды, как читают отрицание в приказе. Аптек было три, все в спальных районах, все маленькие, с витриной на улицу и складом величиной с чулан; до больших он ещё дойдёт, но большие ломали первыми, а к маленьким у мародёрства всегда

очередь вторая. Это он знал ещё по Фаллудже: главный склад берут в первый день, а чулок за чей-нибудь лавкой помнят неделю.

Район встретил его иначе, чем торговая улица позавчера. С развязки, где он на минуту остановился проверить ветер, он заодно поискал глазами вчерашние маячки: дым двести двенадцатого азимута стоял на месте, тонкий и ровный, а двести сорок седьмого не было вовсе — то ли догорело, то ли погасили, то ли ветер снёс струю к самым крышам. Дэн пометил пропажу на карте и поехал дальше с неприятным чувством человека, у которого одна из немногих точек на карте только что шевельнулась.

Здесь город умирал не у касс и не в пробке — здесь он умирал дома, и разница была видна с дороги: машины стояли по карманам и подъездным карманам, припаркованные, а не брошенные; двери домов — закрытые, не выбитые; на лужайках — вещи, которые выносят, когда собираются вернуться: садовый шланг, брошенный поперёк дорожки, колёсико от детского велосипеда, почтовый ящик с приоткрытой крышкой, из которого ветер неделями вынимал по бумажке. Город торговый лежал навзничь, а этот — будто уснул в одежде, и Дэн ехал медленно не из осторожности даже, а потому что быстро ехать по этому было неправильно, как неправильно быстро ходить по чужому дому.

Первая аптека стояла в кирпичном стрип-молле между химчисткой и пустым офисом страховщика, сетевая, с красно-белой вывеской. Стеклянную дверь разбили давно и неаккуратно — удар пришёлся в нижний угол, и стекло легло внутрь фартуком, уже втоптанным в грязь сотней проходов. Дэн вошёл через эту дверь, шагнув высоко, по привычке не скрипеть, и остановился за порогом, как останавливался теперь везде: сперва ветер, потом звук, потом порог — только ветра здесь не было, был застой, сладкий и тяжёлый, и звука не было, и это было ответом.

Розничный зал грабили люди, которые спешили. Стеллажи стояли, но полки с обезболивающим были выметены до картонных разделителей, а рядом, через проход, витамины стояли рядами ровными, как в день завоза, — красивые банки с оранжевыми этикетками, целые, никому не нужные. За рецептурной стойкой было хуже: шкафы вскрыты, ящики выдвинуты и брошены выдвинутыми, на полу — белый ковёр из пустых блистеров, и каждый блистер когда-то был чьим-то рецептом, чьей-то очередью, чьим-то страхом. Дэн обошёл стойку и прошёлся вдоль остатков с фонарём, не трогая ничего руками, только читая этикетки. Антибиотиков не было. Ни одной упаковки, ни одного флакона — их вынесли в первую же волну, ещё когда это называлось не грабежом, а запасом на всякий случай, и те, кто вынес, тоже, наверное, составляли списки и тоже подписывали даты. В уголке за стойкой, где работал сам фармацевт, жизнь оборвалась аккуратнее: на столике стояла кружка с написанным маркером именем — «Пэм», — календарь был перевёрнут на сентябрь, и красным по клеткам шёл отпуск, запланированный на октябрь, две недели, до самого Хэллоуина, а на мониторе липким листком висело «вернусь через 10 минут». Десять минут закончились для всех примерно одинаково. Аптека, понял Дэн, умерла раньше города: полки опустели, когда люди ещё стояли в очередях, и грабёж был уже не причиной, а панихидой.

Из своего списка он нашёл здесь одну строку: жгуты, три штуки, в отделе перевязочных, куда мародёры не заглянули, потому что жгут — это не про то, чего боялись в сентябре. Он взял их рукой в двойном нитриле и опустил в мешок, стоящий на тележке, и записал в блокнот против карандашного списка короткую помету. Всё. Целая аптека — и три жгута. Он вышел

через ту же дверь, и на пороге его обдало ветром с запада, тёплым, и он постоял, давая ветру пройтись по комбинезону, прежде чем сесть в кабину.

На карте против первого адреса он написал, что аптека вскрыта и пуста, что перевязочный отдел не тронут, и что возвращаться сюда можно за бинтами, когда дойдёт дело до бинтов. Второй адрес лежал в двенадцати кварталах к северу, и он поехал туда по параллельной улице, потому что главная, как он уже знал, текла в одну сторону — к эвакуационным выездам — и стояла, застыв в этом течении.

Вторая аптека была не сетевой. Она сидела в первом этаже углового дома, узкая витрина, деревянная дверь с колокольчиком, и на двери — листок из школьной тетради в клетку, приклеенный изнутри скотчем по углам. Почерк был старческий, прямой, с нажимом: «Закрыто. Антибиотиков нет, я раздал. Инсулина нет. Простудного нет. Не ломайте дверь, пожалуйста, её дед столярничал. Берегите друг друга. Дж. Велеско, фармацевт». Дэн прочёл записку дважды. Потом посветил фонарём сквозь витрину: зал стоял чистый и пустой, полки голые, но голые по-хозяйски — ни одной вещи на полу, касса прикрыта чехлом, на стойке выстроен ряд пустых корзинок, как выстраивают вещи люди, которые уходят ненадолго и собираются навести порядок по возвращении. Дверь держалась не на замке, а на записке — и держалась, что было видно по целому стеклу и непоцарапанному косяку: сентябрьский город, у которого отнимали всё, эту дверь почему-то уважил. Дэн постоял перед ней. Ломать её, чтобы забрать чужие пустые полки, было незачем; но дело было не в «незачем» — он честно поискал в себе расчёт и не нашёл, нашёл другое: человек, который в последнюю неделю стоял здесь и раздавал, сказал «пожалуйста» тому, кто придёт с ломом, и это его «пожалуйста» почему-то сработало и на сентябрьских мародёров, и вот теперь на него. Дэн опустил ломик, который уже отстёгивал от пояса рюкзака, — он даже не успел его отстегнуть, он только тронул карабин, — и на карте против второго адреса написал коротко: «Велеско. Раздал. Дверь не трогать». Последние два слова он написал для себя на будущее, на голодный февраль, когда закончится что-нибудь такое, что заставит перечитывать карту жадными глазами.

На лужайке у третьего адреса стояла табличка агентства недвижимости, и сама аптека оказалась в цоколе кирпичного дома тридцатых годов, вниз по четырём ступеням, с вывеской, где половина букв давно не светилась. Эту дверь ломали тоже — но иначе, чем первую: не спеша, ломом, по замку, аккуратно, и следы на краске были свежие не то чтобы по дням — в мёртвом городе свежесть перестала измеряться днями, — а по тому, что щепа от косяка лежала ещё не растоптанной. Дэн спустился по ступеням и остановился на последней.

Запах здесь был другой, и он прочёл его раньше, чем дочитал сцену. Под застоем и аптекарской пылью лежал знакомый уже, сладковатый, ни с чем не перепутаешь — и значит, внутри кто-то был, и этот кто-то был мёртв, и мёртв недавно по городским меркам: не сентябрьская волна, а позже. Позже — это была новость, и новость плохая, потому что она значила, что по городу ходили живые после того, как город умер, и умирали уже отдельно, по одному, и что болезнь не ушла вместе с толпой, а осталась, как остаётся огонь в торфе.

Он вошёл низко, с фонарём и ружьём, по стеночке, как входил когда-то в комнаты на другом континенте, — и в этой аптеке приём сработал так же, как там: ничего не произошло. Зал был маленький, три стеллажа, стойка. В подсобке он побывал первым делом, до всякого списка: чулан с картонными коробами, служебный туалет, дверь в тамбур заднего выхода — заперта изнутри, и это было важно, потому что значило, что за спиной у него отныне никого нет и быть не может. Из чулана тянуло мышами и старым картоном, по обычному, живому;

мышей он услышал, не увидел — шорох по коробам, деловитый, и шорох этот его обрадовал: обычные мыши, которые шебаршат и удирают, были сегодня хорошей новостью после вчерашней подсобки супермаркета, где крысы стояли и смотрели. Фильтр к этому часу уже вяз к влаге, дышалось тяжелее, и он отметил время: два с небольшим часа на фильтре, предел четырёх, — ещё час работы, не больше. За стойкой, в углу, стоял металлический шкаф цвета слоновой кости, и дверца его висела на одной петле, вывороченная ломом, — сейф-шкаф, контрольный, то, что в аптеках держат отдельно от всего и отпускают по бумагам с тремя подписями. А у порога, между дверью и стойкой, лежал человек, который этот шкаф вскрыл.

Он лежал ничком, лицом к выходу, одна рука вытянута к ступеням, к свету, и в кулаке — пакет, коричневый аптекарский пакет, скомканный. Лом лежал в двух шагах, у стеллажа, туда, куда его бросили, когда он перестал быть нужен. Человек был одет хорошо, по-домашнему аккуратно: куртка застёгнута, шнурки завязаны бантиком, — человек, который шёл за лекарством, а не за добычей, и Дэн увидел это сразу, но мысль эту отложил, потому что сперва было дело: он обошёл зал ещё раз, медленно, по второму кругу, заглянул за каждый стеллаж, вернулся к стойке и только тогда присел рядом, на корточки, на приличном расстоянии, как садятся у чужой постели.

Смерть пришла к этому человеку не от лихорадки в её сентябрьском виде — и в то же время, по всему, что мог прочесть Дэн, именно от неё: от неё, затянувшейся, смягчённой, неторопливой, которая добирала одиночек неделями позже общего срока. Почему этот прожил дольше города и всё равно догорел — вопрос, на который у Дэна не было ответа, как не было ответа и на главный. Были только версии, и все три его версии от таких находок не крепли, а путались.

Он сделал то, что полагалось сделать. Сперва — опись, потому что порядок есть порядок даже здесь: пакет из кулака он не вынимал, а прочёл насквозь фонарём — ампулы, коробочки с ампулами, и этикетки все контрольные; человек нёс обезболивающее, много обезболивающего, и в кармане куртки фонарь нашёл второй пакет, не распечатанный. Зачем столько — Дэн не знал и знать не хотел: мёртвый не отвечает за замысел, а живой, который судит мёртвого по замыслу, — тот следующим начнёт судить и живых, если они когда-нибудь найдутся, а судья из него был бы никакой. Потом — документы: бумажник лежал во внутреннем кармане, права штата Колорадо на имя Роберта Дейла, сорок один год, адрес — в трёх кварталах отсюда, и чек из этой же аптеки, двухлетней давности, выцветший, сложенный вчетверо за правами. Он был здесь своим. Он пришёл сюда, как приходят в знакомое место, где когда-то здоровались. Глаза ему Дэн закрыл ладонью в перчатке, осторожно, как закрывают дверь в комнату, где спят. Потом нашёл за стойкой фармацевтический журнальный картон, оторвал полосу, написал крупно и чётко: «Роберт Дейл» — и положил полосу человеку на грудь, придавив пустым флаконом, чтобы не сдуло сквозняком. Чтобы нашедший — если будет нашедший, если будет когда — начал с имени, а не с пакета.

Потом он работал. Шкаф с вывороченной дверцей он осмотрел и оставил почти весь: из контрольного он взял одну упаковку морфина в ампулах, заводскую, с не тронутой фольгой, — ровно столько, сколько может понадобиться человеку, у которого нет хирурга, и ни ампулой больше, потому что остальное в доме одного человека — не лекарство, а соблазн, а соблазны он хоронил ещё в другой жизни. Упаковку он записал в блокнот и подпись свою поставил, как расписку. Зато обычные стеллажи, которых взломщик не коснулся вовсе, — ему было не до них, — дали больше, чем обещал худший из его прогнозов: амоксициллин нашёлся, две пачки, не тронутые в нижнем ряду, куда не дотянулась спешащая рука; ципрофлоксацин —

один, последний; доксициклина не было, и он пометил это; зато хлоргексидин стоял литровыми флаконами, скучными, никому не нужными, и он взял четыре, и йод взял, и перекись, и перевязку — всю, сколько влезло в два мешка, потому что третья аптека оказалась той самой лавкой с чулком, до которой у мародёрства не дошла вторая очередь. Работал он долго, по списку, строка за строкой, и дважды останавливался — не от звука, звука не было, — а от того, что поймал себя на работе молча и быстро, как работают наспех, и заставлял себя замедлиться: спешка здесь была неуместна, оскорбительна даже, потому что человек у порога не спешил уже никуда.

В машину он выносил мешки по одному, и каждый раз, поднимаясь по четырём ступеням, переступал через мёртвого аккуратно, со стороны, и каждый раз говорил про себя одно и то же слово — «прости», — и ловил себя на этом, и не переставал.

След он увидел, когда выносил последний мешок.

Он лежал на асфальте в трёх шагах от нижней ступени, на пыльной полосе у самой водосточной канавы, куда неделями не доходил ни дождь, ни шина, — и потому лежал чётко, как печать: широкая мягкая лопасть подошвы, четыре пальца веером, и перед каждым пальцем, впереди, точка когтя, ушедшая в асфальтовую пыль. Дэн поставил мешок на мостовую. Медленно, не сводя глаз с отпечатка, отошёл на шаг в сторону, чтобы его собственная подошва не встала рядом, присел на корточки и долго просто смотрел, не трогая.

Он знал следы. Это было одно из немногих, чему его учили так, как учат грамоте: сперва отец в лесах под Ганнисоном, потом инструкторы, потом собственные тридцать лет осеней, когда по пыли лесной дороги он читал утренние новости точнее любой газеты. Кошачий след не спутаешь ни с чем: собака и волк печатают когти вместе с пальцами и ладонью в треугольник, кошка идёт иначе — кругло, мягко, с подошвой, похожей на букву, — и когтей у кошки на ходу нет, кошка их прячет. Здесь когти были. Здесь когти были, потому что зверь шёл быстро или тяжело, и перед лопастью, в пыли, лежали четыре глубокие точки, как четыре клепки. А размер — Дэн достал из нагрудного кармана линейку, тонкую, стальную, из набора чертёжного, которым правил свои карты, и приложил: поперёк подошвы было больше двенадцати сантиметров.

Пума. Это было первое слово, и он сказал его вслух, и вторая мысль пришла сразу, потому что была готова: пума в этих местах — дело обычное, он сам встречал их следы выше по хребту, и крупный самец печатает десять, бывает одиннадцать сантиметров. Но не двенадцать. И пума не давит когти впереди пальцев на ровном ходу, и пума — он обошёл находку и нашёл второй отпечаток, потом третий, уходящие вдоль канавы на восток, — и пума не шагает так, с такой поступью, широкой и вальяжной, с переносом веса, который читается даже в пыли. Он сфотографировал след телефоном, положив рядом линейку, потом обвёл отпечаток по краю перочинным ножом, процарапав в пыли круг — не ради науки, а чтобы завтрашний ветер не солгал ему, если он вернётся перепроверить.

След уходил на восток. На востоке, за кварталами, лежал город весь целиком, а за городом — ничего, равнина; и Дэн стоял, посреди улицы, где не было никого, кто мог бы с ним поспорить, и спорил сам с собой: такого следа здесь быть не могло. Не по книгам. Не по картам. Не по тридцати его осеням. Кошка с такой лапой не живёт в Колорадо — она живёт в совсем других горах, за другими океанами, или в двух местах похуже: в клетке и за стеклом. Эту мысль он не додумал до конца, потому что конец у неё был слишком длинный, и он отложил её, как откладывают инструмент, который понадобится позже.

Домой он ехал медленно, и дело было не в мешках.

Обратный порядок исполнил целиком, без единого пропуска, потому что сегодняшний день дал ему то, чего он не ждал: человека, умершего позже срока, — а значит, торф тлел, и протокол был уже не привычкой, а единственным разумным ответом на то, что нельзя измерить. Мешки — к прицепу, на отстой, к вчерашнему грузу; комбинезон — валиком в мешок; перчатки наружу; распылитель по сапогам сверху вниз, не пропуская шнуровки. На пороге — бутылка. Он протёр лицо, шею, руки до локтей, медленно и не жалея, и спирт остыл на коже ветром, и только после этого он переступил дверь. Так будет каждый раз. Сегодня — тем более.

Сеанс восемнадцати ноль-ноль он провёл по форме и записал в журнал: «Эфир пуст». Потом долго сидел над блокнотом, и наконец встал, снял с полки чистую тетрадь в чёрной обложке — таких у него была стопка, купленных когда-то оптом, — и написал на первой странице два слова: «Книга имён». Подумал. Имён у него было пока два, и оба он написал сразу, вечером, задним числом: первым — Эрл Коутс, сосед по улице, найден на крыльце собственного дома двадцать четвёртого сентября; вторым — Роберт Дейл, сорок один год, найден в аптеке на Девятой, двадцать седьмого. Под именем Дейла он сделал помету, которой не делал под Эрлом: «дата смерти неизвестна; позже общего срока». А под пометой, помедлив, приписал то, что не стал бы писать в рабочем журнале, потому что журнал был для учёта, а эта тетрадь — нет: «Шёл за обезболивающим. Кому — не знаю. Глаза закрыл. Имя оставлено».

Ужин был поздний и простой, и воду под него он кипятил с избытком, дав котелку прогрохотать на печке дольше всякой надобности, — и опять, как накануне, не стал заносить в журнал, что держал кипение дольше положенного. Третья версия стояла в нём теперь впереди двух других, и сегодняшний день её не ослабил: человек, который умер позже всех, мог умереть от чего угодно — от грязного горлышка, от лужи, от банки консервов, открытой не теми руками.

Потом он раскрыл справочник следов — тонкий, в жёлтой обложке, «Следы Скалистых гор», зачитанный до мазута на сгибах, — и положил рядом телефон с фотографией. Крупнейший отпечаток пумы, который знал справочник, был на сантиметр уже того, что лежал в пыли у аптеки. Справочник был авторитетом тридцати его осеней. Дэн закрыл его, подумал, открыл снова — на той же странице, потому что других страниц на эту тему не существовало, — и перечитал строки про когти: «на ходу когти в следе не отпечатываются». У канавы отпечатались. Он дописал в журнал, внизу, под «Эфир пуст», одну строку и подчеркнул её дважды: «След у аптеки на Девятой: кошка, крупнее пумы, с когтями. Ушла на восток». А потом долго сидел в темноте, слушая, как за окном работает ветер, и впервые за эти недели тишина за стенами сторожки показалась ему не пустой.

Глава пятая

БУНКЕР

О Пайн-Холлоу он думал с того самого вечера, когда записал в журнале, что дом — это крыло морга.

Место было присмотрено давно, без всякой мысли о конце света — просто человек, который читает карты и планы округа, как другие читают газеты, однажды отметил его для себя и положил в память. Горный посёлок в сорока милях от города, одна улица, кафе, заправка, церковь, школа. Школа — кирпичная, одноэтажная, построенная в пятьдесят седьмом, когда строили так, будто здание должно было пережить своих учеников, а на фасаде, у самого входа, три жёлто-чёрных знака с тремя треугольниками в круге. Убежище гражданской обороны. В те годы их ставили под школами, больницами и пожарными частями — бетон в человеческий рост, дверь на штурвале, фильтровентиляция, колодец, запасы на две недели для полусотни человек. Знаки эти Дэн видел сотню раз по всему штату, за дверями таких знаков обычно лежали стулья и старые маты. Но под Пайн-Холлоу, он помнил это по окружным чертежам, лежало настоящее — закладная, не распроданная под склад, и колодец на плане был пробурен внутри периметра, а не снаружи. Человеку, который ищет базу, а не кладовую, это разница между домом и сараем.

Выехал он на рассвете двадцать восьмого, с фильтром «№3» на резинке, винтовкой, ломом, двумя канистрами воды и чётким правилом: сегодня — только смотреть. В кузове лежала пустая сетка и складная тачка — на случай, если смотреть придётся недолго. Топлива в баке стояло три четверти, и в журнале против даты он записал расход заранее, как всегда: сорок миль туда, сорок обратно, горный профиль, значит десять галлонов с гарантией, а не восемь по паспорту.

До отъезда, на рассвете, он разобрал прицеп: отстой у супермаркетного груза вышел в полночь, и двое суток под ветром и солнцем были отмолчаны. Рис и соль ушли в сторожку, на полки, которые он всю неделю переделывал под хранение; мешки он переносил по одному и каждый осматривал на прогрызы — мыши до прицепа не добрались, и это было маленькой победой порядка над случаем. Водка из первого ящика встала под навес, к остальным шестнадцати. Аптечные мешки молчали своё — до завтра. Он работал быстро, но не торопясь, и под конец поймал себя на том, что напевает — без мотива, просто носом, — и остановился, потому что не мог вспомнить, когда напевал в последний раз.

Дорога забирала вверх сразу, и город остался внизу — дымка, тихая геометрия кварталов, ни одного дымка, кроме того, двести двенадцатого, который стоял третий день тонко и ровно, и который Дэн по-прежнему не собирался проверять. Посёлок начинался, как начинаются все горные посёлки: с таблички ограничения скорости, которую никто никогда не соблюдал, и с перекошенной парковки сразу за ней. Почта с американским флагом, опущенным не наполовину — просто перекрученным вокруг флагштока ветром. Кафе с вывеской «лучшие блины на хребте» и распахнутой дверью, из которой выходила дорожка обглоданных перьев — кто-то мелкий и зубастый давно присвоил кухню. Заправка с двумя колонками пятидесятых годов, вечная, вечноживая, в которую Дэн мысленно поставил галочку: дизель здесь будет жить дольше, чем люди. Напротив церкви стоял дом с приоткрытой входной дверью и двумя

маленькими велосипедами у крыльца — один розовый, с бахромой на руле, другой зелёный, — и велосипеды эти Дэн отметил краем глаза, как отмечал всё, и проехал мимо, потому что чужие двери он сегодня не открывал: посёлок будет обследован, но не сегодня и не в спешке, и двери в нём подождут, они теперь никуда не торопятся.

Он ехал медленно, по главной и единственной, и посёлок был тих тем особенным покоем маленьких мест, где мёртвые лежали не на улицах, а в домах, и улица от этого казалась пустой декорацией, которую забыли разобрать. Собаки здесь были — следы на пыли, кучи на обочинах, — но не показались, и это он тоже отметил. Кошачьих следов не было; он смотрел.

Школа стояла в конце улицы, на пригорке, с флагштоком, на котором флага не было вовсе, и с баскетбольной площадкой, заросшей по трещинам тонкой травой. Три жёлто-чёрных знака висели на своих местах у входа, выцветшие, но читаемые. Дэн поставил пикап поперёк въезда, носом к выезду, как ставил теперь всегда, и долго сидел, слушая. Ветер шёл вдоль улицы, с гор, чистый. Потом он вышел, обошёл здание по периметру, заглянул в окна — парты, стопки тетрадей, расписание, выцветшие гирлянды из бумажных листьев, — и только после этого спустился по бетонным ступеням сбоку от главного входа, туда, где под козырьком стояла она.

Дверь была из тех, что не забываются: сталь в дюйм, ржавая патина по кромкам, и посреди — штурвал, как на корабельной переборке. Дэн положил ладонь на штурвал и повернул — без силы, просто попробовал. Штурвал не пошёл ни на волос. Он налёг, плечом, правильно, и сталь ответила тем единственным звуком, который ему был сейчас нужен и который он меньше всего хотел услышать: глухим, внутренним, мёртвым упором собак, лежащих в пазах с той стороны.

Заперто изнутри.

Он отступил на ступень и стоял так долго, глядя на дверь. Заперто изнутри значило одно: кто-то вошёл, закрутил штурвал за собой — и не вышел. Шестидесятые тут были ни при чём: ржавчина на кромках была старой, а у подножия, на бетоне, лежал пластиковый стаканчик из кафе, новый, глянцевый, с откусанной соломинкой, — сентябрьский, не иначе. Кто-то пришёл сюда в сентябре. С блинами, со стаканчиком, с ключами или с ломом. И заперся. И молчал, когда город за сорока миль умирал, — потому что ради такого это убежище и строили.

Дэн постучал. Ломом, по стали, три удара — так стучат в переборку, когда ищут живых, ровно и громко, — и прислушался, склонив голову. Потом постучал ещё раз, другую серию. Бетон и сталь держат звук долго, и если бы за дверью был кто-то живой, звук бы вернулся — шагами, голосом, хоть чем-нибудь. Вернулось эхо самих ударов и ничего больше.

Он мог бы взять эту дверь. Долго, шумно, с резаком — а резака с собой не было, и волочь компрессор в гору на один замок было глупостью. Но он знал, как строили эти убежища, и потому обошёл школу снова, уже не глядя в окна, а считая шаги от угла здания на северо-восток, по плану, который помнил хуже, чем хотелось. Аварийный выход у таких объектов полагался всегда: второй ход, узкий колодец с металлическими скобами, выводящий на поверхность в тридцати-сорока футах от основного — чтобы люди могли выбраться, если вход завалит. Сверху колодец закрывала крышка, чугунная, на петле, — а чугун не знает, с какой стороны его открывают.

Крышку он нашёл под гравием игровой площадки, по шву в неровности, и отгрёб её тачкой и лопатой за час с лишним, останавливаясь слушать тишину и разминая спину. Колодец уходил вниз в темноту, скобы блестели, как блестят вещи, которых никто никогда не касался. Дэн вытащил фонарь, посветил вниз — двенадцать футов, на дне песок и листва, — и прежде чем полезть, сделал то, что делал всегда в этих местах: встал с наветренной стороны, приоткрыл крышку пошире и дал воздуху подняться.

Запах пришёл сразу, ещё до того, как он закончил считать до десяти.

Знакомый уже, сладковатый, плотный — но старый, осевший, не волна, а шлейф. Дэн отвернулся, выдохнул, и некоторое время смотрел на горы, соображая не то что решение — решение было принято ещё у двери, — а порядок. Респиратор он не снимал с утра; теперь он проверил клапаны ещё раз, натянул вторую пару нитрила поверх рабочих перчаток и достал из кузова распылитель. Вниз он спускался медленно, по скобам, с ружьём за спиной и фонарём на груди, и на каждой скобе останавливался — не потому что боялся того, что найдёт. Он уже знал, что найдёт. Он давал себе время привыкнуть к этому до того, как увидит.

Внутри было просторнее, чем он ждал, — люди пятидесятых строили с размахом и верой. Главный зал в пятьдесят футов длиной, ряды раскладушек вдоль стен, столы, стеллажи с бочками воды и армейскими ящиками сухпайков, крышки которых никто не вскрывал за шестьдесят лет; дальше — санитарный угол, генераторная с ручным приводом вентиляции, и в самом конце, за аркой, — две комнаты поменьше. Бочек с водой стояло восемь, пятидесятигаллонных, казённых, с клеймами шестьдесят второго года, и вода в них, Дэн знал это заранее, будет мёртвой — шестьдесят лет в закрытом баке убивают воду надёжнее кипячения; но клеймёная бочка сама по себе была богатством, потому что бочку можно опорожнить, вымыть и наполнить из колодца. Ящики с сухпайками он вскрыл один, демонстрационно: галеты превратились в оружейное дерево, конфеты — в янтарь с надписями. Всё это пойдёт на вывоз и в яму, но не сегодня. Зато инструмент в генераторной — гаечные ключи в полный рост, ломы, кувалда, ручная лебёдка, — лежал в нетронутой смазке, и это было первое настоящее богатство убежища: вещи, сделанные людьми, которые собирались жить долго. Луч фонаря шёл по залу ровно, и Дэн вёл его медленно, от двери к дальней стене, читая то, что здесь произошло, как читал следы: сперва картина целиком, потом подробности.

Картина была такая. В убежище спускались жить, а не умирать: у раскладушек — одеяла из дома, нормальные, цветные, детские; на столе — настольная игра, недоигранная партия остановилась на середине хода; на стене, у лампы, — лист ватмана, и на нём детской рукой, фломастерами, выведено «НАШ ДОМ» и нарисованы четыре фигурки: два больших, два маленьких, и у всех одинаковые улыбки дугами. А запасы из ящиков не тронуты — люди принесли свою еду, свою воду, свои лекарства, как будто шли сюда не навсегда, а в поход, и собирались вернуться, когда всё кончится. Оно и кончилось. Только не так.

Лихорадку они принесли с собой — это читалось без труда, и Дэн читал медленно, потому что ошибаться здесь было нельзя. Трое лежали в главном зале, на раскладушках и у раскладушек, накрытые одеялами до подбородков, — кто-то укладывал их, укрывал, значит, уходили они не сразу и не вместе, и кто-то оставался последним. Последним был отец: у его раскладушки стоял походный стульчик, обращённый к остальным, и на стульчике — стопка носовых платков и градусник, всё домашнее, всё для заботы, которая ничего уже не могла. Когда кончилась его очередь, он не лёг. Он лежал у двери на штурвале, на полу, спиной к залу, лицом к выходу, и рядом стоял фонарь на батарейках, давно севших, и лежал молоток. Дэн понял

эту картину, как понимают с полувзгляда: последний, кто остался на ногах, пришёл к двери открывать её — и не смог, или не успел, или передумал открывать её миру, который за дверью кончился. Молоток — чтобы стучать. Стучать было уже некому и некуда.

Документы нашлись в сумке на столе, аккуратно сложенные в папку, — люди, уходящие в убежище, берут документы, как берут зонтик. Дуэйн и Карла Пейс, сюда, с единственной улицы Пайн-Холлоу, дом напротив церкви. Дэн перечитал адрес, и ему вспомнились два маленьких велосипеда у крыльца — розовый, с бахромой, и зелёный, — и он некоторое время сидел с папкой в руках, глядя в стену, потому что адрес на бумаге и велосипеды на крыльце были одной и той же семьёй, и теперь это знание жило в нём. Дети — по школьным карточкам, вложенным туда же, с фотографиями: Тоби, девять лет, и Лив, шесть. На обороте старшей карточки отцовской рукой было выведено: «Аллергия: арахис». Дэн держал карточку под фонарём дольше, чем нужно для чтения, а потом убрал папку в планшет, бережно, как убирают чужое важное.

Числа он восстановил по настенному календарю из кафе — «лучшие блины на хребте», — который висел у раскладушек: крестики по дням шли до одиннадцатого сентября, а двенадцатое было обведено и зачёркнуто одновременно — человек начал отмечать день и не довёл черту до конца. Они спустились сюда в первую неделю, ещё когда сверху всё работало. У них было всё, кроме одного: инкубация не спрашивает разрешения у двери на штурвале. Шесть суток — и лихорадка вышла из человека, который думал, что унёс от неё семью. Дэн стоял посреди зала и думал о том, сколько сотен таких дверей стоит сейчас по всей стране запертых изнутри, и что его три версии — воздух, вода, сроки — все три здесь, в этом зале, не нужны, потому что здесь было простое и старое: её внесли любимые руки.

Работу он начал с двери. Штурвал с той стороны поддался рывку — механизм был исправен, просто заперт, — и створка ушла наружу с воем, от которого по всей улице Пайн-Холлоу метнулись тени мелкой живности. Свет и горный ветер вошли в убежище впервые за три недели. Дэн выставил у двери распылитель, обработал тамбур, и только потом приступил.

Четверых он выносил по одному, и на всё ушло время, которое он не считал. Он заворачивал каждого в его собственное одеяло — другое здесь казалось неправильным, — поднимал, нёс по ступеням, по свету, и укладывал на траву у школьного двора, в тени флагштока. Маленькие были лёгкие, и от этой лёгкости у него перехватило дыхание ровно один раз — он остановился на середине двора, постоял, глядя в горы, потом донёс. Молоток и севший фонарь он вынес тоже и положил рядом с последним, с отцом, потому что эти вещи принадлежали ему и его работе, которую он не успел доделать.

Ямы он копал на баскетбольной площадке, вдоль её дальней бровки, где земля была мягче и где зимой солнце будет заглядывать первым, — четыре, в ряд, на глубину, которую он знал и которую не обсуждал ни с кем уже двадцать лет. Работа заняла остаток дня и утро следующего, потому что земля под площадкой оказалась с щебёнкой, а он не имел привычки делать такие вещи вполовину. Над каждой могилой он поставил крест из школьной доски, струганой и ровной — в подсобке школы нашлись и доски, и рубанок, — и на каждом кресте выжег паяльной лампой имя, потому что краска ветрует, а жжёное остаётся. Дуэйн. Карла. Тоби. Лив. Вечером второго дня, когда всё было кончено, он постоял над рядком холмиков, снял респиратор — здесь, на ветру, на своей земле, — и прочёл вслух, по именам, все четыре, потому что имена должны звучать, а не только лежать в тетради. Потом сказал то единственное, что сумел: «Место хорошее. Сторожите школу».

В книгу имён они вошли тем же вечером, в сторожке, строками, которые он писал медленно: «Семья Пейс целиком: Дуэйн; Карла; Тоби, девяти лет; Лив, шести. Убежище под школой, Пайн-Холлоу. Спустились около десятого сентября. Лихорадку принесли с собой. Похоронены у школьного двора, кресты, имена выжжены». А ниже, после долгого сидения над раскрытой тетрадью, он приписал то, что относилось уже не к Пейсам, а ко всей тетради: «Книга начата поздно. Те, кого я не нашёл или не опознал, всё равно считаются. Строки для них будут пустыми. Пустые строки тоже считаются».

Три дня ушли на бетон. Он приезжал каждое утро, с рассветом, и уходил в темноте; спал в сторожке, потому что протокол есть протокол и убежище, в котором умерли четверо, сначала перестаёт быть склепом, потом становится помещением, и только после этого — местом, где можно спать. Хлорку он возил канистрами — свою, старую, из тревожного ящика, которая за годы выдохлась до половины силы, и потому шла двойными нормами, — и работал сверху вниз, зал за залом: потолки, стены, полы, раскладушки, которые он сначала обработал, а потом всё равно вынес и сжёг за школой, потому что некоторые вещи не отмываются, а выгорают. Колодец он проверил отдельно, поднял ведро, кипятил пробу на примусе и пил весь третий день только её — вода стояла чистая и холодная, скважина уходила в скальник на двести футов, и это одно оправдывало всё. Фильтровентиляция, гражданская, лопастная, с ручным приводом и электрическим, оказалась исправной: он прокрутил её рукой, послушал подшипники, смазал, и она заработала ровно, с низким гудением, от которого в убежище впервые за три недели пошёл живой воздух.

Вечера были одинаковыми и хорошими, как хороша бывает усталость с результатом. Дорога домой занимала час с лишним по горам; у сторожки — обратный порядок: распылитель, перчатки наружу, комбинезон в мешок, водка по лицу и рукам на пороге, и только потом дверь. На второй из этих вечеров вышел отстой у аптечных мешков, и он занёс их в дом, поставил на отдельную полку, переписал по списку, а морфин убрал в самый дальний ящик стола, под справочники, — туда, где вещи лежат до нужды, а не на виду. Сеанс в восемнадцать ноль-ноль он проводил каждый вечер, и каждый вечер писал одно и то же: «Эфир пуст». С высокого перегиба за Пайн-Холлоу, с места, где дорога в последний раз показывает долину, он два вечера подряд смотрел на дым двести двенадцатого азимута — тот стоял всё так же, тонко и ровно, и ровность эта нравилась Дэну всё меньше, потому что пожары так себя не ведут, а ведут себя так печки. На карте против азимута появилась вторая пометка: «4-й день. Ровный». Ближе он не подходил.

Переезд он просчитывал на третью ночь, за столом, с бутылкой керосина у локтя и картой перед собой. Сорок миль — это рейс; рейс с прицепом — это день с погрузкой и разгрузкой; всего у него набегало на четыре полных рейса, если не считать бочек. Бочки, две пятидесятипятигаллонные, полные, — отдельная песня: четыреста фунтов каждая, не закатить и не вывалить, значит, сначала он пригонит их к убежищу и опорожнит в казённые, вымытые, а свои заполнит из колодца уже там. Книга имён поедет первым рейсом, с ним самим, за пазухой, — он решил это сразу и даже не стал записывать, потому что такие вещи не планируют, их просто делают.

На третий день, вечером, он постоял в главном зале, где пахло уже не смертью и даже не хлоркой, а просто сырым бетоном, и сказал вслух — впервые за эти дни обращаясь к помещению, а не к мёртвым: «Годится».

На тот же вечер пришлось открытие, ради которого стоило копать.

Он обмерял дальнюю комнату под склады — шагами, как обмерял всё, — когда сапог у дальней стены ответил не так: звук у бетона был другой, с пустотой за ним. Стена здесь оказалась не стеной, а филёнкой — доски по направляющим, снаружи закрашенные под бетон серой краской, так старательно, что швы повторяли опалубку. Дэн работал осторожно, снимая доски одну за одной, и за третьей доской фонарь упёрся в стеллаж. А на стеллаже — в стойку, аккуратно, в чехлах и с ярлыками, как в музее, которому не изменили, — стояла радиостанция. Не переносная игрушка, как у него, а стационарный корпус военной раскраски, с надписью по верхней кромке, которую он прочёл дважды, потому что первый раз не поверил удаче: аварийная сеть гражданской обороны, RACES, с позывными округа, выжженными на табличке. Рядом — катушки кабеля, целые, в заводской плёнке, пятьдесят ом, сколько угодно. Под стеллажом — ящик с изоляторами и оттяжками. А на самом стеллаже, пришпиленная кнопками к пробковой доске, лежала схема, нарисованная карандашом от руки, ровно и любовно: антенное поле. Мачты, направления, длины плеч под диапазоны — кто-то шестьдесят лет назад чертил это для мира, в котором по этим проводам должны были говорить живые с живыми.

Дэн сел на ящик с изоляторами, не снимая перчаток, и долго смотрел на схему. У этого места когда-то были большие уши — и, выходило, его собственный ящик в сторожке, который он считал последним голосом Америки, был просто грамотным одиночкой при мёртвой сети. А сеть была вот. Стойка, кабель, план поля — и за сорока милями, внизу, тишина, которую эта машина могла долбить так, как его рюкзачной рации не снилось.

Он провёл по станции рукой, по чехлу, и читал её, как читал всё на свете: ламповая, вся, от входного каскада до усилителя мощности, — а это значило, что её не выжечь никаким импульсом, что чинить её можно на коленке, и что пара сотен ватт в антенну она даст, если дать ей ток и время прогреться. Питания здесь не было уже три недели, и генераторы в соседней комнате ждали солярки и рук. Антенного поля над школой не было вовсе — кабель с катушек никогда не поднимался в воздух, план так и остался планом, карандашным, с кнопками. Шестьдесят лет это место ждало войны, которая не пришла, и снаряжение лежало новеньким, заведённым один раз в год для проверки — Дэн нашёл и журнал обходов, аккуратный, с подписями, последняя запись датировалась маем, и человек, который её делал, вывел «всё исправно» и, видимо, ушёл домой ужинать.

Он осторожно снял схему с кнопок, сложил вдвое и убрал за пазуху, ближе к телу, чем документы Пейсов. Потом вышел из дальней комнаты, прошёл залом, запер за собой дверь на штурвал — теперь уже снаружи, теперь уже свою, — и постоял на ступенях, глядя, как над четырьмя свежими холмиками у площадки садится вечер. В журнале в ту ночь, в сторожке, он написал длиннее обычного: «База есть. Вода есть. Связь — будет. Переезд начинаю завтра». А ниже, отдельной строкой, после раздумья: «Убежище работает. Проверено худшим способом: оно спасает не от лихорадки. Оно спасает от всего остального. Буду пользоваться по назначению».

Глава шестая

СКЛАД

Переезд занял четыре дня и ни одного происшествия — ровно так, как он любил.

Первого октября ушёл первый рейс: книга имён за пазухой, оружие, журналы, справочники, аптечка и ящик с радиостанцией — всё то, что не доверяется ни грузовику, ни завтрашнему дню. Вторым рейсом ехали продукты со сторожки и из-под навеса: штабель водки он пересчитывал при погрузке и при разгрузке, потому что антисептик был теперь дороже патронов, а патроны были дороже еды. Третьим — инструмент, одеяла, одежда, печные заслонки, которые он снял с печки сторожки, потому что заслонки эти были выкованы хорошо и знали его руку. Четвёртым, долгим, мучительным — бочки: две свои пятидесятипятигаллонные, полные, по четыреста фунтов каждая, он катил их по лежаку из досок и поднимал в кузов самодельной талью — ручным блоком, перекинутым через дерево, и к вечеру того дня у него болело всё, включая, кажется, волосы. В Пайн-Холлоу бочки встали рядом с казёнными, вымытыми, и колодец начал работать: он качал по двадцать ведер в день, фильтровал через ткань и кипятил, потому что колодец колодцем, а протокол протоколом.

Сторожку он консервировал в последний вечер, как консервируют дом, к которому не знаешь, вернёшься ли: печь вычищена, заслонки закрыты, на столе — записка для тех, кого нет, короткая, без объяснений, просто: «Вещи нужным. Берите. Еда в погребе». Печке он сказал вслух «спасибо» — и не смутился, потому что за месяц они с этой печкой перемолвились большим, чем он перемолвился за предыдущие пять лет с кем бы то ни было из живых. Постоял на пороге, где столько раз переступал через водку и ветер, посмотрел на озеро внизу, тёмное и ровное, с первой осенней рябью у дальнего берега, и ушёл, не оборачиваясь, потому что оборачиваться было не в его правилах.

Бункер принял его как принимают нового жильца: холодно, сыровато, но честно. Он обживал его по порядку, и порядок этот был ему приятен, как приятна бывает работа, у которой виден конец. Первую ночь он не спал почти — не от тревоги, а от нового звука: бетон держит тишину иначе, чем дерево, глухо и честно, и он лежал и слушал, как за тремя футами сводов ночует октябрь, а в фильтровентиляционном коробе шевелится воздух, который он сам прогнал рукоятью. Печь-буржуйку, привезённую со сторожки, он врезал на второй день в вытяжной канал генераторной и вывел трубу в старый вентиляционный стояк; первую настоящую ночь, с теплом, он спал на полу, на одеялах, и спал крепко, потому что впервые за месяц над ним был не дощатый потолок, а три фута бетона и плита, рассчитанная на вещи похуже погоды. План базы он начертил на обороте школьной карты округа и повесил в главном зале: жилая зона у печки, складская — дальняя комната, мастерская — генераторная, а у самой двери, в тамбуре, он разметил то, чего у убежища не было и что теперь будет: карантинную зону, с крюком для мешка и полочкой для бутылки. Воду он держал в четырёх казённых бочках, вымытых хлоркой и заполненных из колодца, — кипячёную отдельно, сырую технической отдельно, и наклейки «кип» переехали вместе с ним. Сеанс в восемнадцать ноль-ноль он проводил из дальней комнаты, сидя рядом с немой пока стойкой RACES: своя рация работала от аккумулятора, а большая молчала и ждала солярки, кабеля и мачт — и он каждый вечер, кончив сеанс, говорил ей, как говорят лежачему другу: потерпи. Поднимем.

И только когда база стала домом — то есть когда в ней была вода, тепло, еда на месяц и место для всего, что у него было, — он сел за карту и позволил себе подумать о том, что думал с самого супермаркета: месяц — это не запас. Месяц — это отсрочка. Зима в этих горах длится шесть месяцев, и человеку, который собирается пережить не только лихорадку, но и её последствия, нужен не магазин. Нужен склад.

Склад он знал — опять же, по старой памяти, по той же привычке читать не те документы, которые читают все. Оптово-продуктовая база ресторанного снабжения у самого выезда из города на его стороне, сорок миль от Пайн-Холлоу: низкое бетонное здание без окон, рампа на шесть фур, жёлтые пилоны. Такие склады не стоят на витринах и не попадают в новости — их знают водители фур и те, кто читает отчёты пожарной инспекции. Мародёрство идёт туда, где светится вывеска; на оптовую базу оно приходит третьей волной, или не приходит вовсе, потому что толпа грабит то, что узнаёт. Рис мешками по пятьдесят фунтов, соль тоннами, консервы номером десять рядами до потолка — толпе не нужен мешок риса, толпе нужен хлеб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.